

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



3 1761 00286160 7





*Purchased for the*

LIBRARY *of the*

UNIVERSITY OF TORONTO

*from the*

KATHLEEN MADILL BEQUEST







ВОСПОМИНАНІЯ

И

ОТРЫВКИ.

# RUSSIAN REPRINT SERIES

edited by

ALEXANDRE V. SOLOVIEV

Professeur Honoraire  
de l'Université de Genève

with the assistance of

ALAN KIMBALL

Instructor in History  
Stanford University  
Stanford, Cal., U.S.A.

## XLIV



EUROPE PRINTING  
THE HAGUE  
1967

Н. Страховъ.

# ВОСПОМИНАНІЯ И ОТРЫВКИ.

---

Аѳонъ.—Италія.—Крымъ.—Л. Н. Толстой.—Справедливость, милосердіе и святость.—Послѣдній изъ идеалистовъ.—Стихотворенія.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія бр. Пантелеевыхъ. Верейская, 18.

**1892.**

*Того же автора.*

- Миръ какъ цѣлое.* Изд. второе, испр. и дополн. Спб. 1892.  
*Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ.* Спб. 1888.  
*О вѣчныхъ истинахъ (мой споръ о спиритизмѣ).* Спб. 1887.  
*Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и фізіологіи.* Спб. 1886.  
*Критическія статьи объ Н. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ.* (1862—1865). Изданіе второе. Спб. 1887.  
*Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка первая.* Изданіе второе. (Герценъ.—Мяль.—Парижская Коммуна.—Ренанъ.—Исторіи безъ принциповъ.—Штраусъ.—Поминки по Н. С. Аксаковъ). Спб. 1887.  
*Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка вторая.* Изданіе второе. (Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова.—Роковой вопросъ.—Наша культура и всемірное единство.—Дарвинъ.—Полное опроверженіе дарвинизма). Спб. 1890.  
*Изъ исторіи литературнаго нигилизма (1861—1865).* Спб. 1890.  
*Блѣдность нашей литературы.* Критическій и историческій очеркъ. Спб. 1867.  
*О методѣ естественныхъ наукъ и значеніи ихъ въ общемъ образованіи.* Спб. 1865.



Составъ этой книжки, довольно разнообразный, имѣетъ, однако, нѣкоторую внутреннюю связь: сюда вошли статьи, касающіяся вопросовъ нравственности и эстетики, и въ концѣ книжки—небольшія попытки художественнаго писанія. Къ этимъ попыткамъ, большею частію уже давнихъ лѣтъ, надѣюсь, читатели будутъ снисходительны и не станутъ подозрѣвать во мнѣ большихъ притязаній. Въ душѣ поэтовъ творчество горитъ яркимъ пламенемъ, но искра такого пламени часто теплится и въ другихъ людяхъ. Настоящимъ поводомъ къ изданію этой книжки было желаніе представить вновь читателямъ двѣ-три статьи, уже напечатанныя, но, въ моихъ глазахъ, болѣе другихъ заслуживающія перепечатки. Журналистика похожа на широкую и шумно текущую рѣку, образуемую множествомъ притоковъ; но теченіе ея чрезвычайно короткое: она быстро впадаетъ въ Лету и ежедневно уноситъ туда не только то, что прямо для этого поглощенія и пишется, но вмѣстѣ и то, что пишется съ надеждою на болѣе долгое существованіе.

18-го окт.

Н. С.



## О г л а в л е н і е.

	Стран.
I. Воспоминаніе о поѣздкѣ на Аѳонъ (1881 г.).	1
II. Изъ поѣздки въ Италію (въ 1875 г.) . . . .	49
III. Два письма изъ Рима ( <i>къ А. Н. Майкову</i> )	
Письмо первое . . . . .	87
Письмо второе . . . . .	95
IV. Крымскія впечатлѣнія (1869 г.) I . . . . .	105
II . . . . .	121
V. Ночь на Днѣпрѣ. Картина Куинджи. (1881) .	121
VI. Толки объ Л. Н. Толстомъ (1891) . . . . .	131
I. Единный духъ во всей дѣятельности . .	133
II. Христіанское, религіозное явленіе . .	139
III. Раціонализмъ и отреченіе отъ него . .	146
IV. . . . .	151
V. . . . .	155
VI. . . . .	159
VII. . . . .	164
VIII. . . . .	169
IX. . . . .	173
X. . . . .	179
VII. Отвѣтъ на письмо неизвѣстнаго (1891) . . .	185
VIII. Справедливость, милосердіе и святость (1892)	199
I. Три ступени . . . . .	200
II. Справедливость. . . . .	203
III. Милосердіе. . . . .	206
IV. Святость. . . . .	211
IX. Теорія благополучія. По поводу трехъ романовъ <i>М. В. Авдьева</i> (1869). . . . .	217
X. Поминки по Аполлонѣ Григорьевѣ (1889) .	245
XI. Послѣдній изъ идеалистовъ. Орывокъ изъ ненаписанной повѣсти. (1866) . . . . .	257

## XII. Стихотворенія.

Комета. (По случаю кометы Донати) . . . . .	297
Грезы . . . . .	299
«Несчастны мы» . . . . .	300
Юность . . . . .	301
Заботы . . . . .	302
Жизнь . . . . .	303
Миръ . . . . .	304
«Не вѣрь себѣ» . . . . .	305
Е. Е. . . . .	306
Е. Е. . . . .	306
Воробьевскій паркъ . . . . .	307
Эстетику . . . . .	307
Поэту . . . . .	308
Е. Е. . . . .	308
Ночь . . . . .	308
Жалоба . . . . .	310
Изъ «Идеаловъ» Шиллера . . . . .	311
Воспоминаніе . . . . .	312
Извиненіе . . . . .	312
Дума . . . . .	313

---



## ВОСПОМИНАНІЕ

о поѣздкѣ на Аѳонъ (1881 г.)

---

### I.

Почтенный Тимеовскій начинаетъ описаніе своего путешествія такими словами: „судьба украсила мою жизнь событіемъ рѣдкимъ, незабвеннымъ: я видѣлъ Китай“ \*). Такъ и я могъ бы сказать. И въ моей жизни было рѣдкое и прекрасное событіе: я видѣлъ Аѳонъ. Впечатлѣнія, которыя оставила во мнѣ Святая Гора, составляютъ съ тѣхъ поръ (т. е. съ 1881 года) великую мою драгоценность, и они живо возникли во мнѣ, когда появилось извѣстіе о смерти игумена отца Макарія (19 іюня 1889) и стали печататься воспоминанія объ немъ и очерки его жизни. Мнѣ досталось счастье видѣть о. Макарія и разговаривать съ нимъ; изъ всѣхъ, кого я видѣлъ на Аѳонѣ, онъ былъ для меня самымъ чистымъ и несравненнымъ

---

\*) *Путешествіе въ Китай черезъ Монголію*. Спб. 1824.

по красотѣ воплощеніемъ того духа, которымъ живетъ вся Аѳонская гора.

Мнѣ хочется теперь остановиться хоть немножко на этихъ воспоминаніяхъ. Особенно хотѣлось бы мнѣ, изъ того, что сохранилось въ моей памяти, уловить кой-какія черты, которыхъ я почти вовсе не нахожу въ чужихъ разсказахъ. Послѣ того, какъ я съѣздилъ на Аѳонъ, для меня получила большую занимательность всякая книга или статья, гдѣ объ немъ говорится; нигдѣ, однако же, не привелось мнѣ найти повторенія иныхъ впечатлѣній, которыя я испыталъ и которыя очень хотѣлъ бы встрѣтить въ полномъ и ясномъ выраженіи.

Но, прежде всего, чувствую, что мнѣ слѣдуетъ представить своимъ читателямъ нѣкоторые объясненія и почти оправданія. Какъ случилось, что я попалъ на Аѳонъ? Что привело меня туда? И тогда, и потомъ, часто мнѣ приходилось слышать подобные вопросы. Еще на пути къ Святой Горѣ не разъ я замѣчалъ, что моя поѣздка возбуждаетъ удивленіе, особенно если случалось говорить съ незнакомыми людьми. И на желѣзной дорогѣ, и въ Севастопольской гостинницѣ, и на пароходѣ, и въ Константинополѣ, даже въ нашемъ консульствѣ и посольствѣ, мои собесѣдники иногда очень замѣтно выражали мнѣ свое недоумѣніе. Когда

бывало случалось мнѣ объявлять свой чинъ статскаго совѣтника, то это всегда производило благопріятное впечатлѣніе; когда потомъ оказывалось, что я служу бібліотекаремъ, то это значительно охлаждало вниманіе, возбужденное моимъ чиномъ; но когда я говорилъ, что хочу проѣхать на АѦонъ, то я видѣлъ, что вдругъ совершенно ронялъ себя въ мнѣніи моихъ собесѣдниковъ. Живой разговоръ, подстрекаемый тою скукою, которую большинство людей чувствуетъ въ дорогѣ, вдругъ затихалъ; иные чуть не готовы были отъ меня отвернуться. Очевидно, въ ихъ глазахъ я попадалъ въ разрядъ людей, которымъ не могутъ быть доступны высшіе интересы просвѣщенія и которые сами питаютъ какіе-то дикіе интересы. Случалось мнѣ замѣчать потомъ, съ какимъ высокомеріемъ и нескрываемымъ недоброжелательствомъ иные изъ этихъ просвѣщенныхъ людей смотрѣли вообще на монаховъ: безъ сомнѣнія, они видѣли въ нихъ какой-то вредный элементъ человѣческаго общества.

И такъ, нѣкоторыя объясненія съ моей стороны, мнѣ кажется, необходимы, хотя, конечно, не для всѣхъ читателей. Вражды и слѣпаго взаимнаго непониманія еще много и въ нашъ прогрессивный вѣкъ, можетъ быть даже больше, чѣмъ въ другіе вѣка.

## II.

Куда ѣхать? Зачѣмъ ѣхать? Если эти вопросы разумѣть въ серіозномъ смыслѣ, на нихъ вовсе не легко отвѣчать. Спасать свою душу одинаково надобно и возможно на всякомъ мѣстѣ, и отъ души своей никуда спастись невозможно. Да и вообще, не вездѣ ли вокругъ насъ люди, а передъ нами земля и небо, всѣ стихіи природы и жизни человѣческой? И счастливъ, конечно, тотъ, кто прямо живетъ этими окружающими стихіями, кого не тянетъ въ даль, кто почерпаетъ свою душевную пищу изъ близкой и родной почвы. Для такихъ людей путешествіе не можетъ имѣть глубокаго интереса; оно всегда для нихъ будетъ только забавою, только „охотою“. Такъ гуляютъ по всему свѣту англичане,нося въ груди свою Англію и смотря на весь остальной міръ съ равнодушіемъ и презрѣніемъ. Правда, они очень трудно и очень мало понимаютъ чужую жизнь: но это вѣдь не мѣшаетъ ихъ душевному здоровью.

Другое дѣло, какъ извѣстно, мы, русскіе. Мы большіе охотники расширять свой кругозоръ: мы легко вникаемъ въ чужую жизнь, легко отдаемся чужимъ понятіямъ, и нельзя не сознаться, что, большею частію, мы этимъ портимъ свою душевную дѣятельность. Если бы мы были посеріоз-

нѣе, то насъ должно бы ужасать то отсутствіе крѣпкихъ связей со всякою жизнью, и съ своею, и съ чужою, которое у насъ такъ часто встрѣчается. Все мы понимаемъ, всѣмъ умѣемъ интересоваться, и ничѣмъ серіозно не заняты, и ни къ чему не питаемъ глубокаго, кровнаго участія, кромѣ развѣ своихъ мелкихъ личныхъ выгодъ и прихотей. Вслѣдствіе долгаго умственного блужданія по разнымъ эпохамъ исторіи и народамъ земнаго шара, русскій образованный человѣкъ часто по душевному складу бываетъ похожъ на отжившаго старика, невольно пришедшаго наконецъ къ той степени отвлеченнаго пониманія, на которой всѣ вещи равны и нѣтъ уже ничего ни новаго, ни великаго, а все сливается въ однообразномъ потокѣ вѣчности.

Какъ бы то ни было, но я чувствую, мнѣ слѣдуетъ, вообще, не столько похвалиться, сколько повиниться передъ читателемъ, объясняя ему что одною изъ причинъ моей поѣздки въ Царьградъ и на Аеонъ была прямо *похоть очей*. У меня было два свободныхъ мѣсяца, и мнѣ захотѣлось увидѣть что нибудь новое, посмотрѣть собственными глазами на какое нибудь большое зрѣлище, не похожее ни на что прежде видѣнное, и прикоснуться душою къ какой нибудь людской жизни, идущей не по тѣмъ началамъ, по которымъ

мы сами живемъ. Европа меня не тянула, хотя въ прежнія поѣздки въ Парижъ мнѣ не пришлось провести и десяти дней, а въ Лондонѣ и вовсе не удалось побывать. Европу вѣдь можно видѣть тутъ, въ Петербургѣ; ея жизнь, ея нравы и вкусы широкою волною наплываютъ къ намъ черезъ это „прорубленное окно“ и осѣдаютъ здѣсь въ самыхъ точныхъ своихъ формахъ. Мы даже и говоримъ по французски, хотя утонченные западники, какъ напримѣръ, Тургеневъ, и замѣчаютъ, что петербургскій французскій языкъ будто бы *противенъ* въ сравненіи съ прелестію настоящаго французскаго языка. Но не всякому доступна такая проницательность; для грубаго взгляда нашъ Петербургъ—совершенно европейскій городъ. Не только улицы, дома и магазины устроены по европейски: но и книги, картины, кокетки, принципы, вкусы и приемы—все цѣликомъ приходитъ къ намъ съ Запада и господствуетъ безпрекословно въ нашей жизни. Конечно, не смотря на то, Петербургъ все таки оказывается только *параднымъ* городомъ, какъ бывають въ домахъ парадныя комнаты для приѣма гостей. Подъ блестящей обстановкой и въ сторонѣ отъ центровъ, опытные глаза и въ немъ легко различають неряшество, грязь, безпорядокъ, все милое *спустя рукава* русской жизни; среди звуковъ стройнаго столичнаго шума и говора,

опытныя уши могутъ уловить и звуки чисто звѣринныя, и нерѣдко грубость истинно татарскую. Не говорю о томъ великомъ духѣ, который многіе приписываютъ только Москвѣ и деревнѣ, и который живетъ, однако, и въ Петербургѣ, хотя еще болѣе безмолвный и невидный, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Но все же, европейскій элементъ, въ самыхъ существенныхъ, крупныхъ своихъ чертахъ, здѣсь такъ силенъ, что едва ли нужно еще ѣхать въ Лондонъ, чтобы ближе узнать начала, на которыхъ зиждется жизнь просвѣщенныхъ народовъ. Такъ вѣдь, кажется мы и дѣлаемъ. мы много ѣздимъ въ Европу, но больше для того, чтобы тамъ жить и гулять, а не для того, чтобы учиться.

Но гдѣ же искать другой жизни? Европейскіе нравы и обычаи уже распространились по всему земному шару; вездѣ власть и движеніе, ростъ и сила принадлежатъ Европѣ, а всякая другая жизнь лишена развитія и будущности. Сотни милліоновъ людей, еще не уподобившихся европейцамъ, составляютъ лишь служебное, рабочее, податное населеніе, которое уже не можетъ мечтать ни о самостоятельности политической, ни о своеобразной культурѣ, ни о малѣйшемъ участіи въ ходѣ исторіи человѣческой. Поприще этой исторіи окончательно остается за Европой и, повидимому, никому не будетъ уступлено.

Итакъ, отъ Европы трудно уйти. Какая охота ѣхать въ Египетъ? Пришлось бы идти вверхъ по Нилу на какомъ нибудь французскомъ пароходѣ, потомъ остановиться въ Каирѣ въ „Европейской гостинницѣ“, а вечеромъ идти въ театръ слушать италіанскую оперу. Жить на другой точкѣ земнаго шара, но въ нашей обыкновенной обстановкѣ, видѣть кругомъ только дребезги былой жизни, не встрѣчать вокругъ себя никакихъ формъ и движеній, въ которыхъ проявляется сила и творчество самобытнаго народа, самобытной исторіи,—тутъ нѣтъ ничего особенно интереснаго.

Но не то ли же самое и вездѣ, что въ Египтѣ? Вездѣ остались только обломки и дребезги былой жизни, вездѣ туземное населеніе на заднемъ планѣ, лишенное средоточія и самобытнаго движенія, а на первомъ планѣ живетъ и движется та Европа, которой отличные образчики можно найти и здѣсь, въ Петербургѣ. Одна только страна, какъ рассказываютъ, сохранила еще свою древнюю жизнь и еще можетъ имѣть надежды на ея развитіе въ будущемъ. Это—Индіа, колыбель самой распространенной религіи, самой отвлеченной философіи и математики. Не такъ давно одинъ изъ нашихъ сенаторовъ съѣздилъ отсюда въ Индію—такъ, для прогулки, въ свободное отъ занятій время. Нельзя не похвалить его за моло-



дечество и не позавидовать ему Но это, конечно, довольно дальняя и дорогая прогулка, и къ ней нужно порядочно подготовиться чтобы она имѣла надлежащій интересъ. Между тѣмъ, у насъ близко, подъ бокомъ есть страны, которыя, очевидно, имѣютъ тоже высокую занимательность. Самая страшная Азія, послѣдняя могучая форма восточной жизни, еще царить въ Константинополѣ; благодаря усиліямъ Европы, на самомъ европейскомъ материкѣ еще сохраняется грозное нѣкогда владычество турокъ. Если бы мнѣ, думалъ я, и не удалось многое уразумѣть въ этой чужой жизни, то одно навѣрное удастся,—увиджу это несравненное мѣсто, полюбуюсь на видъ, равнаго которому не находятъ на всемъ земномъ шарѣ. А кромѣ того, бываю и въ Святой Софіи, то есть въ храмѣ, который, по мнѣнію многихъ, тоже не имѣетъ себѣ равнаго по красотѣ.

Но оттуда уже не далеко до другаго мѣста, какъ мнѣ думалось, еще болѣе любопытнаго, уступающаго своимъ интересомъ развѣ только одной Индіи. Это—Святая Гора, небольшой полуостровъ Эгейскаго моря, населенный монахами. Тамъ сохранилась до нашихъ дней и продолжаетъ неприкосновенно процвѣтать особая жизнь, начавшаяся съ первыхъ вѣковъ христіанства и, уже почти тысячу лѣтъ назадъ, вполне сложившаяся

въ свои формы. Эти монахи показали, какъ бы въ видѣ огромнаго историческаго примѣра, истинное свойства монашества, то есть, что они дѣйствительно отрeksiеся отъ міра богомольцы, чуждые всякихъ земныхъ дѣлъ. Такъ ихъ и поняли свирѣпые турки и оставили ихъ въ покоѣ, такъ что люди, отказавшіеся отъ всѣхъ земныхъ благъ, сохранили въ теченіе многихъ бѣдственныхъ вѣковъ лучшее благо—независимость и самобытный складъ жизни. Но цѣль ихъ была разъ навсегда назначена, и средства для нея отъ начала были опредѣлены; поэтому, имъ не нужно было никакихъ перемѣнъ, и у нихъ не было прогресса, не было исторіи. По свидѣтельству ученыхъ изслѣдователей, Аѳонъ есть дѣйствительно живой остатокъ глубокой старины, и, въ этомъ отношеніи, мѣсто единственное въ своемъ родѣ, подобнаго которому нѣтъ ни въ одной странѣ обитаемаго міра.

Вспомнимъ при этомъ, какой духъ тамъ живетъ,—духъ нашего православнаго благочестія Тамъ—одно изъ чистѣйшихъ воплощеній того животворнаго начала, которое составляетъ истинную душу русскаго народа. Аѳонъ есть поприще и училище святости, а святой человѣкъ есть высшій идеалъ русскихъ людей, начиная отъ неграмотнаго крестьянина и до Льва Толстаго.

Вотъ, читатель, маленькое объясненіе, почему мнѣ грѣшному захотѣлось побывать на АѦонѣ.

### III.

Въ 1881 году 16-е августа приходилось въ воскресенье, и утромъ въ 9 часовъ я сѣлъ на пароходъ, который по воскресеньямъ отходитъ изъ Севастополя и идетъ прямо въ Константинополь. На пароходѣ было пусто; кромѣ двухъ русскихъ, мужа и жены, былъ еще одинъ англичанинъ; но гдѣ же на морѣ англичанъ не бываетъ? Невольно я почувствовалъ нѣкоторую странность своего поступка; какъ это я ѣду туда, куда никто не ѣдетъ?

Константинополь вообще такъ далекъ отъ нашихъ мыслей, что онъ и въ пространствѣ кажется намъ дальше Парижа, Лондона, Рима. Между тѣмъ онъ дѣйствительно у насъ подъ бокомъ. Изъ Севастополя или изъ Одессы проѣхать въ Константинополь легче и дешевле, чѣмъ изъ Петербурга въ Москву. На другой день въ полдень мы уже входили въ Босфоръ и, конечно, всѣ бросились на палубу. Къ несчастію, день былъ облачный, и удивительный видъ много терялъ. Но, кромѣ того, присматриваясь къ пышнымъ зданіямъ, которыя одно за другимъ такъ живописно рисуются на зеле-

номъ фонѣ высокаго берега, я сталъ чувствовать въ этой пышности какой-то недостатокъ. Въ размѣрахъ этажей, въ простѣнкахъ, которые втрое уже оконъ, во всемъ обнаруживалась странная легкость. „Да это карточные домики!“ сказалъ я англичанину. Потомъ я убѣдился, что такъ построены и весь Константинополь. Тонкія стѣны выводятся изъ деревянныхъ брусевъ, пересѣкающихся на крестъ; промежутки закладываются легкими кирпичами. Архитектурное впечатлѣніе, которое производитъ большая масса такихъ домовъ, въ сущности очень жалкое.

Когда мы вошли въ Золотой Рогъ, насъ ожидало другое разочарованіе. Въ Константинополѣ нѣтъ набережныхъ и пристаней; пароходы, какъ въ необитаемой странѣ, бросаютъ якорь среди залива, и только въ лодкѣ можно добраться до берега. Но встрѣча намъ была радушная. Сейчасъ же на пароходъ явился проводникъ, Марко Митровичъ, очень хорошо говорящій по русски, и явились монахи съ аѳонскаго подворья съ ласковымъ предложеніемъ пріютить странниковъ. Но какъ ни тянуло меня къ себѣ подворье, еще больше мнѣ хотѣлось сейчасъ же очутиться не среди русскихъ, а среди туземнаго населенія того удивительнаго города, котораго громадная панорама со всѣхъ сторонъ окружала насъ. Мнѣ было

непонятно хладнокровіе капитана, который твердилъ, что торопиться некуда и уговаривалъ чету супруговъ остаться обѣдать на пароходѣ. И они согласились! Я же тотчасъ захватилъ съ собою Марка и съ величайшимъ нетерпѣніемъ и волненіемъ пустился на берегъ.

Минута, когда я вышелъ на дрянную лодочную пристань въ Галатѣ, осталась въ моей памяти. Показалось солнце, сдѣлалось ярко и тепло. Что же это такое? Во всѣ глаза глядѣлъ я на людей, которые тутъ суетились. Это были носильщики, простые турки и всякіе азіаты, работавшіе надъ ящиками и мѣшками товаровъ. Ихъ смуглыя лица, по восточному неподвижныя, какъ будто вылитыя изъ мѣди, съ рѣзкими и странными, никогда невиданными мною чертами, ихъ открытыя груди и голыя икры, ихъ яркія одежды — все поразило меня, какъ будто я попалъ на другую планету. Но мое удовольствіе не долго продолжалось. Марко, оставившій меня на улицѣ за чашкой кофе, скоро вернулся съ коляской; мы поѣхали, и я съ каждымъ шагомъ все яснѣе видѣлъ то, о чемъ слѣдовало бы раньше догадаться: кругомъ меня не было ровно ничего турецкаго и викакихъ турокъ; мы были въ *Перъ*, которую можно назвать особымъ городомъ, совершенно европейскимъ, хотя бы и худшимъ изъ всѣхъ городовъ на свѣтѣ. Это

не часть Стамбула и не предмѣстье его, какъ обыкновенно говорятъ; ибо у нихъ нѣтъ ничего общаго. Они раздѣлены вполне, физически—Золотымъ Рогомъ, а нравственно—происхожденіемъ, языкомъ, религіею, образомъ жизни,—словомъ всякими возможными раздѣленіями. Опять, значить, я попалъ въ европейскую среду. Хотя въ Константинополь европейская жизнь не на первомъ, а на второмъ планѣ, но оказалось, что мнѣ нельзя иначе и жить, какъ на этомъ второмъ планѣ. Стамбулъ недоступенъ для иностранцевъ; тамъ нѣтъ гостинницъ, и поселиться среди турокъ невозможно.

Но мнѣ приходится теперь отложить всякіе рассказы о впечатлѣніяхъ Стамбула, о святой Софіи и мечетяхъ, о базарахъ и кофейняхъ, о всяческихъ моихъ усиліяхъ выикнуть въ жизнь турокъ и уловить фізіономію удивительнаго города и времяпровожденія его жителей. Никакія описанія не могутъ замѣнить того, что поймешь, когда видишь предметъ собственными глазами, и если я прежде зналъ, что Турція—умирающій организмъ, то не могъ, однако, и представить себѣ, какъ на всемъ и всюду здѣсь лежитъ страшная печать мертвенности. Но обращаюсь прямо къ поѣздкѣ на Аѳонъ. На аѳонскомъ подворьѣ мнѣ сказали, что пароходъ отойдетъ 28 августа, и уже

наканунѣ я перебрался изъ гостинницы на подворье. Не могу не вспомнить съ благодарностью объ этомъ гостепріимствѣ. Аѳонскіе отцы знамениты своею любезностію и радушіемъ, и самое пріятное то, что вы скоро чувствуете, до какой степени они въ этомъ естественны. Вѣжливости монаха имѣетъ глубокую и твердую основу—искреннее смиреніе; промахъ въ обращеніи съ людьми скорѣе сдѣлаетъ мірской человѣкъ, никогда не бывающій вполне свободнымъ отъ *гордости житейской*.

Вообще, для русскаго поѣздка на Аѳонъ оказывается дѣломъ самымъ простымъ и легкимъ. Не нужно ни малѣйшихъ хлопотъ и усилій. Въ Константинополѣ монахи возьмутъ васъ съ парохода, помѣстятъ въ своемъ подворьѣ, будутъ угождать вамъ, кормить и поить, и, когда придетъ время, посадятъ на пароходъ, отправляющійся къ Святой Горѣ. Поразительно то обстоятельство, что только русскій монастырь устроилъ совершенно правильное и удобное сообщеніе съ Аѳономъ. Французскій пароходъ, дѣлающій правильные рейсы по Мраморному и Бѣлому морю, обязанъ по условію зайти разъ въ двѣ недѣли въ русскій монастырь св. Пантелеймона; тутъ онъ оставляетъ тѣхъ, кто сѣлъ въ Константинополѣ, и беретъ тѣхъ, кто туда возвращается. Нашъ монастырь,

поэтому, сталъ точкой сообщенія съ остальнымъ міромъ всей Аѳонской горы; онъ разъ въ двѣ недѣли принимаетъ подъ свой кровъ путниковъ всякихъ другихъ монастырей, хотя изъ нихъ многіе превосходятъ его древностію и богатствомъ. Дѣло въ томъ, что обильный и непрерывный потокъ богомольцевъ въ настоящее время идетъ только изъ Россіи; путники, идущіе изъ другихъ странъ, становятся все рѣже и рѣже. Говорятъ, что греки усердно посѣщали Аѳонъ и дѣлали богатыя приношенія, пока были подъ властію турокъ; но со времени освобожденія все это почти прекратилось. Греки очень рѣдко стали поступать и въ монахи, такъ что ихъ монастыри состоятъ теперь изъ глубокихъ старцевъ и понемножку пустѣютъ. У насъ наоборотъ: число монашествующихъ растетъ съ каждымъ годомъ. Всего замѣчательнѣе то, что это процвѣтаніе есть дѣло очень недавнее. Когда въ половинѣ сороковыхъ годовъ Фалльмерайеръ гостилъ на Аѳонѣ, онъ, такой внимательный ко всему, касающемуся Россіи, даже не обратилъ вниманія на ничтожную кучку русскихъ монаховъ. Быстрое разростаніе „Руссика“ относится только къ прошлому царствованію, то есть какъ разъ къ тому времени, когда происходило столько освободительныхъ реформъ, когда вмѣстѣ съ тѣмъ появились и разрослись у насъ



вольнодумство, нигилизмъ, покушенія. Въ это время, незримо для насъ, благочестивые люди одинъ за другимъ уходили навсегда за дальнія моря и составили тамъ нынѣшнее многолюдное и цвѣтущее общежитіе.

Можетъ быть это—простое слѣдствіе оживленія всякихъ передвиженій и сношеній, а можетъ быть тутъ есть и молчаливый протестъ противъ нашего просвѣщенія.

#### IV.

Вечеромъ 30 августа мы обогнули мысъ, на которомъ стоитъ высокій конусъ, называемый собственно горою АѦономъ, и осторожно стали подвигаться вдоль западнаго берега полуострова. Наступила тихая и темная звѣздная ночь, и я съ сокрушеніемъ смотрѣлъ на гористый берегъ, смутно темнѣвшій передъ нами. Какую бы красоту мы увидѣли, если бы это было при свѣтѣ солнца! Часу въ одиннадцатомъ вечера, наконецъ, медленно движущійся пароходъ остановился въ темнотѣ противъ русскаго монастыря. Большая неправильная груда зданій, гдѣ не свѣтилось ни одного огонька, неясно бѣлѣла на берегу. Съ парохода дали сигналъ—небольшой пушечный выстрѣлъ; все молчало и было темно по прежнему. Подо-

ждали, сдѣлали другой выстрѣлъ, и опять стали ждать. Бѣда была въ томъ, что мы пришли въ то время, когда всѣ монахи спали — они вѣдь ежедневно встають отъ сна въ первомъ часу ночи. Наконецъ на берегу показались люди съ огнями, и лодки стали подходить къ пароходу. Случилось такъ, что онѣ сперва пристали къ сходу изъ третьяго класса. Мы должны были ждать, пока будетъ перевезена на пристань большая толпа богомольцевъ изъ простонародья.хлопотъ было много, и монахи усердно работали, принимая путниковъ и ихъ вещи. Я праздно стоялъ, вглядываясь въ эту оживленную картину. И тутъ меня поразило впечатлѣніе, которое потомъ уже не покидало меня во все время, проведенное на Святой Горѣ. Послышались быстрыя, торопливыя восклицанія монаховъ: „сюда! держитесь! подвиньтесь! посвѣти, братъ Василій! отецъ Памва, еще немножко!“ и т. д. Но, не смотря на всю живость и поспѣшность этихъ рѣчей, въ нихъ было что-то особенное. Онѣ не только не подымались до крика, не только въ нихъ не звучало и тѣни раздраженія или досады, но не было даже простой небрежности или отрыванія; торопящіеся голоса были неизмѣнно ласковы, чисты и свободны. Эти монахи, которыхъ мы вдругъ разбудили, оказались на этой пробѣ истинными монахами. И тоже самое вы замѣтите

всегда и на всемъ АѦонѣ, и въ монастыряхъ, и въ Кареѣ, и на дорогахъ въ лѣсу, и на лодкахъ у береговъ. Вездѣ, въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ господствуетъ совершенное безстрастіе и спокойствіе, которое при каждомъ удобномъ случаѣ переходитъ только въ радушіе и ласку. „Благословите!“ „Богъ васъ благословитъ!“ „Будьте благословенны!“ — такими привѣтствіями обмѣниваются на АѦонѣ пешеходы и всадники встрѣчающіеся на дорогѣ. Въ продолженіе двухъ недѣль я не слышалъ ни единого крика, ни единого сердитаго слова; эта удивительная тишина, прямое отраженіе и выраженіе душевнаго мира, поразила меня въ первый день, а потомъ плѣняла все больше и больше. Такъ живетъ весь полуостровъ, все его десяти-тысячное населеніе.

На другой день по пріѣздѣ меня пригласили къ игумену, и я увидѣлъ о. Макарія. Но прежде чѣмъ говорить о немъ, мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о *мѣстѣ дѣйствія*, обо всей АѦонской горѣ, объ ея внѣшней, природной красотѣ. Мѣстоположеніе нашего монастыря, къ сожалѣнію, не имѣетъ въ себѣ ничего особенно красиваго. Онъ стоитъ у довольно крутаго берега, какъ будто прижатъ къ нему, и зданія его, неправильно нарастающія кверху, представляютъ нѣкоторую картину только съ моря. Тутъ одна красота, именно—само море, кра-

сота общая всему Аѳону, обнимающая его со всѣхъ сторонъ. Море видно было изъ оконъ той кельи, въ которой меня поселили; море свѣтилось въ огромныя окна новаго большаго храма, гдѣ дали мнѣ мѣсто для стоянія на службахъ. Море есть великая красота, половина всѣхъ красотъ земли, и кто полюбилъ море, тому ничто замѣнить его не можетъ. Безбрежная масса прозрачной какъ кристаллъ воды то тиха и весело волнуется, то грозна и неистово мечется; но при всякомъ своемъ движеніи и при всѣхъ переменахъ дневнаго и ночнаго освѣщенія, она, въ силу своей чистоты, принимаетъ краски и оттѣнки удивительной нѣжности, отчетливости и силы. Уже отъ этого видъ моря есть истинная ласка для глазъ.

Но я наслаждался и другими, особенными красотами Аѳона. Дня черезъ два послѣ приѣзда, монахи сами предложили мнѣ то, чего мнѣ чрезвычайно хотѣлось, — сдѣлать поѣздку по Святой Горѣ. Такія поѣздки составляютъ здѣсь, очевидно, обыкновенное, привычное дѣло, и вотъ я въ теченіе моего пребыванія дважды покидалъ нашъ монастырь и страствовалъ по другимъ монастырямъ, а, главное, проводилъ цѣлыя дни на дорогахъ и тропинкахъ, окруженный всею роскошью и прелестью Аѳонскихъ видовъ. Скажу прямо, что нигдѣ и никакое путешествіе не давало мнѣ столько жи-

ваго наслажденія, какъ эти поѣздки; никогда *похоть очей* не была удовлетворена такою обильною и сладкою пищею.

Многое тутъ зависѣло отъ самаго способа передвиженія. На АѦонѣ почти вовсе нѣтъ колесныхъ дорогъ; вся ѣзда совершается верхомъ на мулахъ, животныхъ, которыя такъ драгоценны для всякихъ гористыхъ и бездорожныхъ мѣстъ. Пслѣдовательно, всякая ѣзда здѣсь совершается *шагомъ*, такъ что на *часъ пути* полагается не больше пяти верстъ. Ничего не можетъ быть лучше для того, кто желаетъ смотрѣть и видѣть. 3-го сентября, послѣ обѣдни, я и отецъ Г., котораго мнѣ дали въ проводники, сѣли на муловъ; погонщикъ, грекъ, служащій по найму въ монастырѣ, взялъ поводья моего мула и пошелъ впередъ; мы выѣхали за монастырь и пустились по ложбинѣ, которая шла въ гору и куда еще не заходили лучи солнца. На протяженіи нѣсколькихъ верстъ я совершенно освоился съ своимъ положеніемъ и оцѣнилъ всѣ его удивительныя удобства. Я сидѣлъ на мулѣ также спокойно, какъ на креслѣ, и неподобное животное скоро заслужило мое полнѣйшее довѣріе. Управлять имъ нѣтъ надобности, опасаться за него было бы непростительною мнительностью; какъ бы ни былъ крутъ подъемъ или спускъ, какими бы камнями, или рывтинами ни была устѣяна тропинка, мулъ

подыметъ и спустится всегда ровнымъ шагомъ, и никогда нога его не оборвется, никогда не ступить на ненадежное мѣсто. Во всѣ поѣздки только разъ случилось, что заднее копытце моего мула немножко поскользнулось. Скоро я отобралъ ненужныя поводья у погонщика и почувствовалъ себя совершенно свободнымъ. Не только я могъ спокойно любоваться видами и разговаривать съ любезнымъ проводникомъ, но я раскрывалъ зонтикъ, когда приходилось ѣхать по горячему солнцу, свертывалъ папирсы, зажигалъ и курилъ—все также удобно, какъ если бы ѣхалъ въ коляскѣ на резинахъ.

Эти долгіе часы на мулѣ неизгладимо остались въ моей памяти. Какая красота! Теперь все у меня уже переишло, и я не могъ бы ничего рассказать по порядку; но живо встаетъ передо мною вся эта роскошная и свѣтлая пустыня. Весь полуостровъ, тянущійся на восемьдесятъ верстъ, похожъ на запущенный садъ, густо заросшій гдѣ только было можно. Южныя деревья съ ихъ живописной темной зеленью, каштаны, дубы, платаны, образуютъ по мѣстамъ высокіе вѣковые лѣса. Но вся мѣстность гористая; безпрестанно открываются поляны, овраги, холмы, скалы; морской берегъ, то пологій, то обрывистый, вдругъ становится видѣньемъ съ высоты, потомъ пропадаетъ и снова является, но уже съ другой стороны, а иногда, когда вы

ѣдете по самому гребню, море разстилается передъ вами съ обѣихъ сторонъ. Трудно описывать природу. Если кто знаетъ южный берегъ Крыма, то пусть вообразить, что двѣ такихъ полосы садовъ и скалъ сложены спинками по той линіи, гдѣ подымается хребетъ Лѣйлы; пусть представить, что такой двойной „Южный берегъ“—еще роскошнѣе по климату и растительности, и что онъ по гребню густо заросъ лѣсомъ,—вотъ, кажется, будетъ подобіе Святой Горы. Никогда не забыть мнѣ ранняго утра, когда мы выѣхали изъ Симоно-Петра послѣ ночлега. Тропинка идетъ на огромной высотѣ надъ отвѣсными скалами, и было видно и слышно, какъ море плещетъ въ каменный берегъ. Боже мой, какой просторъ и свѣтъ, какая прозрачность и чистота всѣхъ очертаній, какой океанъ сіяющей красоты!

Не даромъ же эту прекрасную пустыню съ древнѣйшихъ временъ выбрали для себя монахи. Известно, что монахи вообще высоко цѣпятъ красоту природы. Вспомните мѣстоположеніе какого нибудь изъ монастырей у насъ на родинѣ; если взглянуть, то нельзя будетъ не согласиться, что мѣсто всегда выбрано съ самымъ тонкимъ и вѣрнымъ вкусомъ. И такъ, радость очей, наслажденіе зрѣлищемъ природы находится очевидно въ полной гармоніи съ самымъ чистымъ благочестіемъ, даже съ высшими духовными подвигами. Меня поразилъ въ этомъ

отношеніи одинъ разсказъ инока Пароенія. Когда онъ пришелъ на Аѳонъ, то сталъ усердно спрашивать, кто тамъ больше всѣхъ славится святостію жизни; ему сказали почти въ одинъ голосъ, что всѣхъ превосходитъ келіотъ Арсеній. Тогда Пароеній пустился отыскивать его келью, добрался до нея и былъ имъ принятъ подъ руководство. Но вотъ что онъ говоритъ о самой кельѣ:

„Келлія стоитъ на горѣ, на возвышеніи, на открытомъ мѣстѣ, откуда видно почти всю восточную страну Св. Горы: на югъ—до самого Аѳона и весь Аѳонъ; на сѣверъ—до монастыря Пантократора и до скита Богородицы; къ востоку, къ морю, подъ горой—монастырь Иверъ весь на открытіи; къ востоку же—и открытое великое море Архипелагъ, до самого Дарданельскаго пролива. По средѣ моря синѣются четыре острова: Тасъ, Самоеракъ, Имбро и Лемнось; къ сѣверо-востоку синѣются горы Македонскія; съ прочихъ же сторонъ келлія окружена лѣсами и холмами. Недалеко отъ келліи, изъ земли истекаетъ источникъ холодной и здоровой воды. Хотя келлія стоитъ яко свѣтильникъ на свѣщницѣ, на самой красотѣ, но въ самой почти непроходимой пустынѣ, такъ что ни съ которой страны къ ней подойти нельзя: ибо окружена горами и непроходимыми лѣсами. Хотя и есть къ ней двѣ тропинки, одна изъ подъ горы,



а другая съ горы, но и тѣ очень малы, такъ что съ трудомъ можно познать“ \*).

Вотъ одинъ изъ АѦонскихъ видовъ. Святой отшельникъ выбралъ для своихъ молитвъ глухое и пустынное мѣсто, но такое, съ котораго открывалась эта чудеснѣйшая панорама. Тутъ ему была готова постоянная радость; тутъ глаза его могли каждую минуту наслаждаться красотою Божьяго міра.

Въ этомъ отношеніи, мѣстоположеніе нѣкоторыхъ АѦонскихъ монастырей — поразительно. Вообще, всѣ эти монастыри построены тѣсно; вокругъ главнаго храма, стоящаго посреди двора, возвышаются со всѣхъ сторонъ корпуса келій. Эти корпуса составляютъ вмѣстѣ и самую ограду монастыря; они бываютъ во много этажей, до шести, семи, и поднимаются часто выше главъ срединаго храма; такимъ образомъ, изъ наружныхъ оконъ верхнихъ этажей открываются безподобныя виды. Два монастыря, Діонисіатъ и Симоно-Петръ дошли въ этомъ исканіи свѣта и простора до послѣдней степени возможности. Они построены на большой высотѣ почти отвѣснаго каменнаго берега, притомъ такъ, что стѣны корпусовъ стоятъ на самомъ краю,

---

\*) Сказаніе о странствіи в пр. Ч. II, стр. 129. (Москва, 1855).

сливаются съ обрывомъ берега. Симоно-Петръ, въ довершеніе всего, занимаетъ собою цѣлый круглый выступъ, который отдѣленъ отъ остальнаго берега порядочною рывиною; монастырь стоитъ какъ будто на отдѣльномъ пикѣ и составляетъ продолженіе этого пика къ верху. Теперь вообразите поднимающіеся одинъ надъ другимъ этажи, у Діонисіата пять, у Симоно-Петра, кажется, до восьми; снаружи вдоль каждаго этажа идутъ деревянные балконы, и вы можете спокойно по нимъ прогуливаться. Какой видъ! Море блеститъ и синѣетъ прямо подъ вами, а кругомъ необъятный просторъ, разубраный дальними островами и горами, и какъ рамка—лѣса и холмы, скалы и заливы Аѳонскаго полуострова. Мало того; по нѣкоторой изысканности въ этомъ наслажденіи, чудные балконы обладаютъ особенностію, которой нельзя не замѣтить; между прекрасными и твердо укрѣпленными дубовыми досками половъ вездѣ оставлены щели, правильные промежутки, такъ что лазурный свѣтъ моря и его сверканіе, кажется вамъ, рвутся изъ-подъ самыхъ вашихъ ногъ...

## У.

Свѣтлою, радостною красотою осталась въ моей памяти Святая Гора. Но и обитатели ея, какъ ни мало я успѣлъ съ ними познакомиться, оста-

вили во мнѣ впечатлѣніе людей свѣтлыхъ и радостныхъ. Противъ монашеской жизни, какъ извѣстно, существуютъ упорныя и глубокія предубѣжденія. Мірскіе люди нынче построили всю свою жизнь на такихъ началахъ, что потеряли возможность даже понять, что дѣлаютъ монахи. У Вогюэ, французскаго писателя, котораго у насъ такъ знаютъ и любятъ, есть книжка, гдѣ онъ очень занимательно и подробно рассказываетъ о своей поѣздкѣ на АѦонъ въ 1875 году \*). Въ заключеніе онъ говоритъ:

„Память минувшаго и молчаніе! Нѣтъ, человѣкъ не можетъ жить этими двумя отрицаніями и въ этомъ скоро убѣдится тотъ, кто побывалъ на АѦонѣ. Никогда не удастся намъ выразить то впечатлѣніе духоты и удрученія, тотъ *сплинъ*, который выдыхается этою искусственною жизнью, то оцѣпенѣніе, которое овладѣваетъ умомъ при этомъ странствіи между гробами. На эту природу, столь богатую и могучую, но пораженную безплодіемъ, нечувствительно распространяется траурный покровъ; глазъ видитъ все въ черномъ цвѣтѣ, тошнота схватываетъ за сердце при вдыханіи безвкусныхъ запаховъ бальзамировки: эти восковые

---

\*) *E. M. de Vogüé. Syrie, Palestine, Mont Athos. Par. 1876.*

фантомы съ угасшими взглядами тревожатъ вашъ сонъ въ уединенной кельѣ. Въ послѣдніе дни напрасно мы искали какого-нибудь пріятнаго напоминанія отсутствующей жизни: намъ казалось, что печаль сочтена отовсюду...“ (стр. 331).

Въ подобномъ тонѣ говорятъ почти всѣ о жизни монаховъ. Даже суровый Фалльмерайеръ, дѣлающій въ своемъ очеркѣ такія гениальныя замѣчанія о различіи востока и запада, и умѣющій такъ глубоко цѣнить *покой* души, и онъ приписываетъ нѣкоторую «меланхолію» тѣмъ, кого называетъ *Weltüberwinder*, „препобѣдившими міръ“.

Между тѣмъ, сами монахи никогда не говорятъ ничего подобнаго. Они считаютъ грѣхомъ, если подвергаются чувству унынія и тоски, и они стараются прегнать отъ себя такія чувства. А главное, они считаютъ свою жизнь по самому ея существу блаженною жизнью, исполненною лучшихъ радостей, доступныхъ человѣку на землѣ. Возьмите *Письма святогорца*, а еще лучше *Странствіе инока Пареснія*, и вы убѣдитесь несомнѣнно, неопровержимо, что въ жизни истиннаго монаха много высокихъ радостей, что монахи сердечно любятъ всю свою обстановку, всѣ свои упражненія и дѣйствительно считаютъ себя несравненно благополучнѣе всякихъ мірскихъ людей. Неправильное мнѣніе о жизни монаховъ, мнѣ кажется,

происходить отъ двухъ причинъ: отъ ложнаго понятія объ ихъ *лишеніяхъ* и отъ ложнаго понятія объ ихъ *трудахъ*. Мірскіе люди часто съ непонятнымъ безстыдствомъ принимаютъ сожалѣть о томъ, что монахи лишаютъ себя двухъ великихъ благъ, мяса и женщинъ. Можно подумать, что именно *похоть плоти* составляетъ главную красоту человѣческой жизни; большинство, впрочемъ, какъ мы знаемъ, искренно исповѣдуетъ это, почему во всемъ цивилизованномъ мірѣ и совершается въ огромныхъ размѣрахъ и съ величайшемъ усердіемъ служеніе чреву и спинному хребту. Но не нужно же забывать, что это служеніе никакъ не можетъ придать нашей жизни полного благополучія; эти радости скоро блѣднѣютъ и оканчиваются обыкновенно только тѣмъ, что человѣкъ впадаетъ въ тяжкое и безрадостное рабство собственному чреву и хребту. Съ отношеніями къ женщинамъ не даромъ всегда сопряжено чувство *стыда*, явный признакъ грѣха и зла, какъ справедливо замѣчаетъ Шоненгауеръ. И такъ, почему же мы будемъ считать несчастными людей, которые совершенно свободны отъ всего, что можетъ повести къ рабству или что можетъ возбудить стыдъ?

Вогюэ очень недоволенъ пищею Леонскихъ монаховъ. „Варенныя тыквы или огурцы, соленая

рыба, козій сыръ, арбузъ... столь въ высшей степени враждебный европейскимъ желудкамъ“ (р. 278). Мнѣ думается, что вся эта *враждебность* проистекла только отъ появленія арбуза; французы считаютъ арбузъ чѣмъ-то ужаснымъ, и невозможно побѣдить ихъ предразсудка противъ этого невиннѣйшаго плода. Какая сила—привычка, „чудовище привычка“!

Разсказывая о поѣздкѣ въ Карю, Вогюэ замѣчаетъ: „Какъ бы было мило и очаровательно, если бы пріятный видъ этого мѣстечка былъ оживленъ молодыми матерями, за пряжею на своихъ порогахъ, криками дѣтей при звукѣ лошадиныхъ копытъ, кудактаньемъ куръ и лаемъ собакъ; но нѣтъ: на шумъ нашего каравана, одни лишь черные колпаки высовываются изъ оконъ, а подъ ними исхудалыя лица и глаза, вяло блуждающіе по безграничнымъ областямъ скуки“ (р. 271). Нѣсколько далѣе, авторъ пожалѣлъ даже объ игуменскомъ котѣ, „печально влачащемъ свое вынужденное безбрачіе“ (р. 281). Ну не странно ли, что ниня мысли приходятъ въ голову какъ разъ тамъ, гдѣ имъ вовсе не слѣдовало бы показываться? Тишина и спокойствіе естественно кажутся неслучайными для живаго права; по совершенно напрасно отсюда дѣлаются заключенія о „безграничныхъ областяхъ скуки“, о „сплинѣ, выдыхаемомъ

этою жизнью“, о „печали, которая сочтена ото-  
всюду“ и т. д. Все это—невѣрный, фантастическій  
колоритъ, искажающій дѣйствительность. Самъ же  
Вогюэ, вездѣ, гдѣ рассказываетъ о сношеніяхъ съ  
монахами, невольно указываетъ на ихъ „веселость“,  
на „общительное добродушіе“ и „оживленные  
рѣчи“; у него живо сохранилось, какъ онъ гово-  
ритъ, „воспоминаніе объ ихъ усердномъ госте-  
примствѣ, о личномъ обаяніи, производимомъ  
всеми этими привѣтливыми и улыбающимися ста-  
риками, руки которыхъ мы пожимали“ (р. 307).  
Развѣ это похоже на людей, изнемогающихъ отъ  
тоски и печали? Нѣсколько далѣе, стараясь раз-  
рѣшить „неностижимую загадку этихъ натуръ“,  
Вогюэ пишетъ: „ясныя и улыбающіяся фізіономіи  
добрыхъ калогеровъ вполне убѣждаютъ насъ, что  
не какія нибудь внутреннія драмы населили эти  
отшельническія убожища“ (р. 315). Это совер-  
шенно озадачиваетъ нашего путешественника; виро-  
чемъ, и никто почти не находитъ выхода изъ  
этого противорѣчія. Мы все немножко чувствуемъ,  
какъ мы дурны и гадки, мы нѣсколько понимаемъ  
надобность покаянія, а потому легко воображаемъ,  
что монахъ есть человѣкъ много нагрѣшившій и  
теперь предающійся покаянію. Мы такъ часто  
видимъ разбитыя сердца, погубенныя жизни,  
изможденные души, что нѣсколько понимаемъ и

и потребность покоя, а потому объясняемъ себѣ монашество, какъ жажду уединенія, какъ удаленіе отъ людей. Но дальше мы понимать не можемъ. Что въ покаяніи душа исцѣляется и свѣтлѣетъ, что въ уединеніи человѣкъ не только спасается отъ людей, а способенъ почувствовать радостное приближеніе къ Богу, словомъ, что монашество есть путь дѣйствительнаго блаженства, что, слѣдовательно, можно искать этого блаженства, вовсе не будучи ни великимъ грѣшникомъ, ни великимъ несчастливцемъ,—этого мы понять не можемъ, это выходить за предѣлы всѣхъ нашихъ представленій.

Кто былъ на Аоонѣ, кто испыталъ ласковое радушіе аоонскихъ старцевъ, ихъ неистощимую доброту, тотъ никогда не приметъ ихъ за людей, удрученныхъ тоскою или скукою. Другаго я, впрочемъ, и не ждалъ; я зналъ и прежде, что чистая веселость есть обыкновенная черта отшельниковъ. Уже о первомъ изъ монаховъ, обѣ Антоніѣ Великомъ, Аоанасіѣ нишетъ, что, хотя онъ былъ невзраченъ, но лицо его сіяло такою необычайною пріятностію, такъ было „весело отъ душевной радости“, что по этому одному всякій узнавалъ Автонія, какое бы множество монаховъ ни было кругомъ <sup>1)</sup>. И такъ, ясныя лица многихъ мона-

---

<sup>1)</sup> *Творенія Аоанасія архіеп. Александрійскаго*. Ч. III. стр. 263. 264.



ховъ и ихъ веселые разговоры не удивляли меня; но все же были случаи особенно замѣтные. Когда въ праздникъ 8 сентября игумень пригласилъ всѣхъ на чай въ большой архонтарикъ, мнѣ случилось остановиться возлѣ группы греческихъ монаховъ. Одинъ изъ нихъ, сѣдой, восьмидесятилѣтній старикъ, высокаго роста, неожиданно сталъ обнимать меня, ласково глядя мнѣ въ лицо и трепля рукою по спинѣ, и все время довольно громко смѣялся, смѣялся отъ всей души. Этотъ простодушный привѣтъ былъ мнѣ чрезвычайно пріятенъ; потомъ мнѣ сказали, что старецъ, которому я вѣроятно чѣмъ нибудь понравился, былъ въ большомъ уваженіи у всей нашей обители. Другой монахъ, удивившій меня своимъ постояннымъ смѣхомъ, былъ тоже грекъ, игумень, если не ошибаюсь, Діонисіата. Мы остановились у него въ монастырѣ и, пока насъ угощали по его распоряженію, онъ нустился спрашивать меня про Россію и политическія дѣла. Онъ сидѣлъ ноодаль на широкомъ диванѣ, подобравши подъ себя ноги и перебирая четки, и безпрестанно раздавался его веселый смѣхъ. Между нашими пантелеймоновскими монахами большая часть были видимо добродушны и спокойны, но особенно былъ ясенъ лицомъ и радостенъ въ разговорахъ отецъ Ап., съ которымъ я, можно сказать, подружился. Онъ заходилъ не

разъ ко мнѣ въ келію, и иногда посылалъ при этомъ случаѣ попросить вина у отца *гостинника*; такъ мы и бесѣдовали—я пилъ кофе съ турецкой гущею, а онъ красное вино. Все это я пишу для того, чтобы показать, что самые почтенные и высоко стоящіе изъ монаховъ чужды всякой чопорности и что въ ихъ положеніи они вовсе не чувствуютъ какого-то мрака и удрученія, или какой нибудь связанности: эта жизнь, повидимому такая искусственная, стала для нихъ совершенно естественною и нисколько не стѣсняетъ ихъ души. Добросердечнѣйшій отецъ Ап. былъ на счету самыхъ строгихъ и образцовыхъ монаховъ.

## VI.

Къ числу *святыхъ* монаховъ принадлежалъ и игуменъ, отецъ Макарій. Мнѣ очень хотѣлось сказать объ немъ нѣсколько словъ, но теперь, когда пришелъ чередъ говорить, чувствую, что мнѣ просто невозможно выразить свое впечатлѣніе. Ну что я скажу? Его видъ и рѣчи, и движенія плѣнили меня съ перваго же взгляда, такъ плѣнили, что я не пропускалъ ни одного его слова, что старался быть во время службы въ церквахъ, гдѣ онъ служилъ, и съ глубокой отрадою вслушивался въ его возгласы. А видѣть его внѣ церкви мнѣ удалось

все-таки только три или четыре раза. Но онъ порази-  
лъ меня и красотою своего лица и голоса, и  
вмѣстѣ простотою, живостью и безмятежною доб-  
ротою во всякомъ своемъ движеніи. Онъ былъ не-  
большаго роста, но очень правильныя черты его  
лица были крупны; лицо было блѣдно и чисто  
какъ будто точеное изъ слоновой кости; прекрасные  
большіе сѣрые глаза были очевидно близоруки (онъ  
иногда прищуривался) и были прозрачно-чисты,  
какъ бывають только у истинныхъ дѣвственни-  
ковъ и постниковъ. Онъ не улыбался, но на лицѣ  
была, такъ сказать, постоянная готовность къ  
улыбкѣ. Рѣчь его не имѣла и тѣни книжности,  
или, вообще, той искусственности, проповѣднической  
приподнятости или молитвенной размыгченности,  
которая часто свойственна духовнымъ особамъ. Это  
была краткая, простая, всегда оживленная рѣчь.  
И онъ безпрестанно шутилъ, онъ въ каждомъ пред-  
метѣ находилъ веселую сторону, какъ бы отнималъ  
серіозное значеніе у трудовъ, которые самъ пелъ,  
и у всякихъ хорошихъ и дурныхъ житейскихъ  
случаевъ, о которыхъ заходила рѣчь. Во всемъ  
монастырѣ, казалось, никто не чувствовалъ себя  
такъ легко и беззаботно, какъ этотъ игуменъ,  
тогда какъ никто не былъ такъ обремененъ, такъ  
ежеминутно поглощенъ занятіями, какъ онъ. Мо-  
нахи благоговѣли передъ тѣмъ высокимъ примѣ-

ромъ, который онъ подавалъ имъ собою. Никто въ такой строгости не исполнялъ всѣхъ молитвенныхъ упражненій; „онъ, какъ свѣча, горитъ передъ нами“, говорили монахи. А остальное время было все занято управленіемъ монастыремъ. Монахъ ничего не можетъ сдѣлать безъ „благословенія“ игумена, и каждый день изъ семисотъ человѣкъ братіи <sup>1)</sup> длинные непрерывные ряды приступали къ игумену или съ просьбами, или за распоряженіями. Онъ сналъ вѣроятно не больше трехъ или четырехъ часовъ <sup>2)</sup>. Монахи жаловались мнѣ, что игумень слишкомъ добръ, ни въ чемъ не отказываетъ братіи, а потому къ нему идутъ даже со всякими пустяками.

Я забылъ сказать, что и движенія и позы отца Макарія носили на себѣ тотъ же свѣтлый характеръ, какъ и все остальное; въ нихъ видна была скорѣе живость и энергія, чѣмъ заученная плавность и мягкость. Но отчего же весь его видъ имѣлъ въ себѣ при этомъ нѣчто величавое, и вмѣстѣ совершенно простое, а во время служенія—глубоко-благоговѣйное? Отчего его чтеніе и возгласы изъ алтаря не только были чужды ма-

---

<sup>1)</sup> Г. Красковскій пишетъ, что число братіи теперь дошло уже до тысячи двухсотъ. („Моск. Вѣд“. № 182 и сл.).

<sup>2)</sup> См. „Воспоминаніе“ К. Н. Леонтьева въ *Гражданинъ*, 1889, №№ 191—211.

шинальности, но звучали сердечнымъ благочестіемъ? Этого нельзя разсказать и объяснить словами.

Отецъ Макарій былъ изъ рода богатыхъ купцовъ Сушковыхъ и, можетъ быть, бодрость и ясность, которою онъ дышалъ, составляютъ нѣкоторое наслѣдіе живучести и дѣятельности, свойственной купеческому сословію. Онъ умеръ 69 лѣтъ, постриженъ въ монахи въ 1851, былъ игуменомъ съ 1875.

## VII.

Доступъ къ отцу игумену былъ очень труденъ; но оказалось, что посѣщать другихъ монаховъ было также почти невозможно. Разумѣется, мнѣ очень хотѣлось сблизиться съ ними, и неизмѣнная ихъ привѣтливость, казалось, устраняла малѣйшее къ тому затрудненіе. Но когда я зашелъ къ отцу Р., то случилось, что онъ спалъ въ это время, и мнѣ было совѣстно, что я разбудилъ его; когда я попробовалъ зайти къ отцу Аи., то засталъ его читающимъ „правило“: конечно я сейчасъ же ушелъ, едва успѣвши взглянуть на прекрасный морской видъ изъ маленькаго окна, на который обратилъ мое вниманіе самъ обитатель кельи. Наконецъ я вовсе прекратилъ эти попытки

и только просилъ монаховъ, чтобы они заходили ко мнѣ, если найдутъ для этого время.

Но свободнаго времени у нихъ почти нѣтъ. Для своего главнаго дѣла, для молитвы, они должны присутствовать на всѣхъ церковныхъ службахъ, а службы эти, вмѣстѣ взятыя, занимаютъ двѣнадцать, пятнадцать, иногда двадцать часовъ въ сутки. Служащіе, причащающіеся (а всѣ причащаются разъ или два въ недѣлю) читаютъ, сверхъ того, еще особыя молитвы. Вслѣдствіе этого, обыкновенно монахи не имѣютъ семи или восьми часовъ подрядѣ свободныхъ, чтобы выспаться, и потому спать мало, или высыпаются въ два или три пріема. И такъ идетъ дѣло круглый годъ, изо дня въ день. Праздники отличаются только тѣмъ, что службы бываютъ торжественнѣе и продолжительнѣе, и что всенощное бдѣніе, начинающееся въ будни въ первомъ часу ночи, начинается подъ праздникъ съ семи часовъ вечера, а кончается, какъ и всегда, къ пяти часамъ утра.

Вотъ главное занятіе монаховъ, вотъ ихъ постоянныя и непрерывныя *труды*. Ни одна черта афонской монашеской жизни не приводитъ мірскихъ людей въ такое изумленіе, можно сказать даже въ такой ужасъ, какъ эти долговременныя молитвы. Фалльмерайеръ рассказываетъ объ нихъ такъ:

«Изъ восьми часовъ, ежедневно назначенныхъ на молитву и псалмопѣніе въ церкви, большая часть, по крайней мѣрѣ зимою, приходится на ночь. И, недовольные еще этимъ подвижничествомъ, отцы Діонисіата, всякую субботу и наканунѣ извѣстныхъ праздниковъ, уже съ закатомъ солнца снова идутъ въ церковь, поютъ, молятся, кадятъ, предаются богомыслию и славословію всю ночь безъ перерыва, пока не покажется утренняя заря; тогда лишь начинается торжественное богослуженіе, кончаемое ими не ранѣе двухъ часовъ послѣ восхода солнца. Игумень всегда долженъ быть въ церкви. Въ зимнія ночи мученіе (Qual) продолжается часто не менѣе пятнадцати часовъ; но строгіе монахи, которыхъ молитвенная жажда еще не утоляется этими упражненіями, продолжаютъ еще моленіе и бдѣніе непосредственно послѣ общаго богослуженія, частнымъ образомъ, въ своей кельѣ, и доходятъ мало по малу до двадцати двухъ часовъ непрерывнаго моленія и истязанія (Pienigung)». „Отъ этихъ ночныхъ бдѣній въ латинской церкви осталось только названіе (Vigil), въ греческой же вмѣстѣ съ названіемъ сохранилось и самое дѣло, чему я, если бы самъ не побывалъ на Святой Горѣ, никакъ не могъ бы и повѣрить.“

„Монахи Діонисіата и Симопо-Петра — мученики живо и могли бы выпудить къ себѣ ува-

женіе даже у насмѣшниковъ. Церковь, одушевляющая своихъ вѣрующихъ до такой суровости къ самому себѣ и до такого героизма, имѣетъ въ своей власти, должно думать, гораздо большія средства и силы, чѣмъ какія обыкновенно приписываются восточной церкви“. „Что сказали бы о такой жизни сибариты запада?“ и пр. <sup>1)</sup>).

Но почему же это намъ кажется до такой степени труднымъ и мучительнымъ? Развѣ намъ въ диковину занятія, поглощающія двѣнадцать, пятнадцать часовъ въ сутки? Нисколько. Возьмите ученаго, студента, даже гимназиста, съ утра до вечера сидящихъ надъ математикою, надъ греческимъ или санскритскимъ языкомъ; возьмите купца, цѣлый день проводящаго за прилавкомъ, мелкаго чиновника, иногда заваленнаго дѣлами, министра обширнаго вѣдомства, непрерывно принимающаго доклады и дѣлающаго распоряженія,—мало ли вокругъ насъ этихъ людей, которымъ, что пазывается, „дохнуть некогда“?

---

<sup>1)</sup> Fragmente aus dem Orient. II, стр. 104, 105. Кстати: докторъ Морицъ Бушъ думаетъ совершенно иначе и выразился такъ: «Аѳонъ въ настоящее время есть главный столпъ всей той глухости, отсталости и ограниченности, которая составляетъ сущность восточной православной церкви». (Die Türkei. Reise-Handbuch, 3-te Ausg. Wien, 1881, стр. 203). Кто бы ни былъ этотъ Бушъ, сейчасъ видво ученаго человека углубляющагося въ сущность вещей.



А между тѣмъ, эти труды далеко не пугаютъ насъ такъ, какъ пугаетъ молитва. Мы вовсе забываемъ, кромѣ того, что, по своей сущности, она несравненно привлекательнѣе всѣхъ подобныхъ дѣлъ. Молитва вѣдь есть обращеніе къ Богу, и, если только мы дѣйствительно молимся, дѣйствительно обращаемся къ Богу, она приводитъ нашу душу въ одно изъ высшихъ и отраднѣйшихъ состояній. Но, повидимому, здѣсь приходится прибѣгнуть къ тому же разсужденію, какое Платонъ (въ „Протагорѣ“) прилагаетъ къ добротѣ души, именно, что *быть* добрымъ очень легко, но, если кто не добръ, то *стать* добрымъ очень трудно. Такъ и молитва: она сладка для тѣхъ, кто сердечно расположенъ молиться; но мы такъ мало чувствуемъ въ себѣ этого расположенія, мы съ такимъ трудомъ возбуждаемъ въ себѣ на недолгія минуты нѣкоторую тѣнь этого расположенія, что всякое молебствіе очень скоро вызываетъ въ насъ несносную борьбу и скуку, и для многихъ бываетъ истиннымъ мученіемъ.

Впрочемъ, мучениковъ вездѣ много, какъ справедливо замѣтилъ Л. Н. Толстой. Нѣкоторымъ изъ нихъ я часто дивился на представленія оперы. На сценѣ какая нибудь блистательная декорація; волны неподобной музыки несутся изъ оркестра, нѣвцы, въ напряженіи высокихъ чувствъ, въ которое ихъ

поставила драма, изливаютъ эти чувства вырази-  
тельнѣйшими мелодіями. А между тѣмъ, передъ  
вами сидитъ зритель, мучительно недоумѣвающий,  
что ему съ собою дѣлать. Онъ нѣсколько минутъ  
поглядѣлъ на сцену и теперь взглядываетъ по  
сторонамъ, смотритъ на потолокъ, вертится и пере-  
двигается на креслѣ, наклоняетъ голову то направо  
то налево, подымаетъ руку и разсматриваетъ концы  
своихъ пальцевъ, заглядываетъ на дно своей шля-  
пы... Нѣтъ спасенія ни откуда! Наконецъ — ан-  
трактъ — онъ стремительно уходитъ, и иногда бы-  
ваетъ такъ благоразуменъ, что уже не возвращается  
на мѣсто своего мученія. Такъ трудно человѣку  
быть свободнымъ душою, такъ трудно намъ, даже  
на короткій срокъ, пожить чѣмънибудь другимъ,  
кромѣ нашихъ личныхъ интересовъ, мелкихъ за-  
бавъ и заботъ, изъ которыхъ мы складываемъ свою  
жизнь и въ которыхъ за то кунаемся, какъ рыба  
въ водѣ!

Въ монастырѣ мнѣ была предоставлена, разу-  
мѣется, полная свобода занятій и провозженія вре-  
мени, и сначала я придерживался того порядка, въ  
которомъ привыкъ проводить свой день. Но съ  
перваго же дня я, конечно, сталъ посѣщать цер-  
ковныя службы, хотя и не всѣ, хотя часто при-  
ходилъ не къ началу и уходилъ далеко раньше  
конца. Скоро, однако, равномерно-бьющійся пульсъ

монастырской жизни сталъ мнѣ ясно замѣтенъ и сталъ увлекать меня за собой. Сидя въ своей кельѣ, я чувствовалъ, когда монастырь спалъ среди дня, чувствовалъ, когда онъ просыпался и шелъ въ свои церкви. Кругомъ наступала полная тишина и безлюдье, и слабо доносилось съ разныхъ сторонъ церковное пѣніе. Когда, такимъ образомъ, совершенно ясно чувствовалось, что всѣ тамъ, всѣ стоять по своимъ *формамъ*, или священнодѣйствуютъ, невозможно было оставаться одному въ своей кельѣ. Я шелъ туда, гдѣ были всѣ, и становился въ свою форму \*). И много, много отрадныхъ часовъ провелъ я въ этой формѣ. Особенно любилъ я всепощныя съ тѣми переменами въ освѣщеніи, въ пѣніи и чтеніи, которыя на АѦонѣ производятся съ такою выразительностію и красотою. Сперва молебствіе долго идетъ равномерно; но потомъ освѣщеніе усиливается отъ незамѣтно зажигаемыхъ свѣчей, и два хора начинаютъ попеременно пѣть торжественныя молитвы. Выпосытся свѣчи на середину церкви, выходятъ изъ алтари іеренъ въ ризахъ и тоже хоромъ начинаютъ пѣть. Вся церковь полна свѣтомъ и звучитъ пѣніемъ; иногда зажи-

---

\*) *Формою* называютъ наши монахи *стасидію*, отдѣльное мѣсто у стѣны, гдѣ придѣланы ручки, чтобы стоя можно было опираться локтями, а иногда и небольшое откидное сидѣнье. Безъ этихъ формъ долгія стоянія были бы невозможны, и каждый монахъ имѣетъ свою «форму».

гастся и громадное среднее паникадило. Но по-немпогу торжество стихаетъ; пѣвчіе замолкають, іерей уходитъ въ алтарь, свѣчи и паникадило незамѣтно гаснутъ, и церковь постепенно погружается въ мракъ и молчаніе. Только по серединѣ, въ темнотѣ, монахъ съ тоненькою восковою свѣчею въ рукѣ читаетъ вслухъ книгу, пригибая горящую свѣчу къ самой страницѣ. Проходить полчаса, часть, чтеніе кончено, снова начинается молебствіе, начинаютъ откликаться хоры, загораться свѣчи и лампады, и и словословіе растетъ все громче и громче, и свѣта все больше и больше. Великое изящество соблюдено въ церковныхъ нашихъ службахъ, и я коснулся здѣсь только самыхъ простыхъ и внѣшнихъ его сторонъ.

Но есть ли жизнь въ этой прекрасной формѣ? Для многихъ кажется непонятнымъ, какъ можно каждый день повторять все тѣ же молитвы и тѣ же священнодѣйствія. Но скептики тутъ очень ошибаются. Пріятно намъ новое, еще небывалое; но и старое, тысячу разъ повторенное, можетъ дѣйствовать на насъ съ полною своею силою, даже еще окрѣпшею отъ повторенія. Каждый день одно и то же слово, одна и та же мысль, можетъ вызывать слезы на наши глаза. Разумѣется, однако, машинальность есть тотъ недостатокъ, противъ котораго всегда приходится бо-

ротъся при повтореніяхъ одного и того же. Вслушиваясь въ аеонскія чтенія и молебствія, я часто былъ поражаемъ удивительною искренностію и чувствомъ, съ которыми они совершаются. Тутъ каждое слово произносится отчетливо; тутъ никто не торопится, и каждый поетъ и читаетъ не для другихъ, а прежде всего для себя; совершается серьезнѣйшее дѣло въ жизни этихъ людей, и ихъ молитвенное умиленіе звучитъ иногда съ невыразимою силою. Особенно удивляли меня пѣвчіе, у которыхъ, казалось бы, должно было отзываться физическое утомленіе послѣ всѣхъ долгихъ службъ; но, и въ концѣ всего круга пѣнія, голоса ихъ звучали тѣмъ же искреннимъ чувствомъ, какъ въ началѣ. Не могу забыть также случая *повторенной молитвы*. Въ то время былъ боленъ *духовникъ*, отецъ Іеронимъ, и были совершаемы за его здоровье особыя молитвы. За вечерней, канонархъ отецъ Ап. сталъ произносить передъ образомъ Богоматери: „Пресвятая Богородице, спаси и помилуй раба твоего Іеронима!“ и повторилъ эти слова *сорокъ* разъ сряду. Велика была опасность впасть въ машинальность; но канонархъ молился искренно, и всѣ сорокъ разъ произнесъ свою молитву съ живымъ чувствомъ. И никакими словами невозможно описать ту трогательную выразительность, неотступность, пламенное усердіе, которыми зазвучи-

чала молитва отъ этого повторенія. Тутъ только я понялъ необыкновенную красоту этихъ повтореній, когда ихъ дѣлають какъ должно.

Такъ живутъ афонскіе монахи. Они живутъ въ церкви, на молитвѣ, потому что остальное ихъ время и другія дѣла совершенно незначительны въ сравненіи съ этимъ дѣломъ. Какое право называть эту жизнь мученіемъ и истязаніемъ? Скорѣе можно сказать, что, если они достигаютъ возможности истинно молиться, истинно благоговѣть передъ священнодѣйствіями, то они живутъ блаженною жизнью. Такъ мы воображаемъ ангеловъ, такъ мы представляемъ себѣ, что сонмы ихъ постоянно предстоятъ передъ Богомъ и не сводятъ своихъ взоровъ съ лица Божія. Для меня нѣтъ никакого сомнѣнія, что если есть монахи, съ борьбой и трудомъ поднимающіеся на высоту этой жизни, то есть не мало другихъ, въ которыхъ это уподобленіе ангеламъ вполне осуществляется. И тогда, что можетъ быть блаженнѣе?

Впрочемъ, не стану настаивать; пусть въ моихъ впечатлѣніяхъ и оцѣнкахъ можно замѣтитъ нѣкоторое пристрастіе. Прибавлю только одно: эти непрерывныя молитвы неразлучно связались въ моей памяти съ мыслью объ Афонѣ. Когда я вспоминаю о своей поѣздкѣ и о любезныхъ монахахъ, я не могу ихъ себѣ представить иначе,

какъ въ церкви, за молитвой. Тамъ, за дальними морями, на свѣтломъ югѣ, въ цвѣтущей своей пустынѣ, они стоятъ въ большихъ и малыхъ храмахъ, съ лицами и сердцами, обращенными къ Богу. Когда бы я ни вспомнилъ объ нихъ, утромъ, или вечеромъ, или ночью, я знаю, что они дѣлаютъ: они поютъ и славословятъ, или молчатъ и благоговѣютъ. И вотъ уже тысяча лѣтъ, какъ восемь или десять тысячъ этихъ монаховъ совершаютъ эти непрерывныя молитвы, которыхъ я былъ очевидцемъ. При такихъ воспоминаніяхъ, при картинѣ, возникающей въ моемъ воображеніи, умиленіе неотразимо проникаетъ въ душу, и пробуждается то чувство, которое такъ ярко горитъ на АѦонѣ, — жажда молитвы.

9 Сент. 1889.

---





# Изъ поѣздки въ Италію.

(въ 1875 г.).

---

„Что такое искусство? Что такое исторія?“ думалъ я, когда поѣздъ двинулся и понемногу прекратились разговоры. На эти вопросы много можетъ сказать Италія, и нужно только уметь слушать ее и понимать.

Пусть не подумаетъ, однако, читатель, что я ѣхалъ съ опредѣленными цѣлями, что задавался мыслью что нибудь изучать, или рѣшать какіе нибудь вопросы. Поѣздка состоялась неожиданно; мы смотрѣли на нее какъ на прогулку, и выбрали апрѣль и май новаго стиля, какъ лучшее для этого время — по увѣренію всѣхъ „Путеводителей“. Готовиться я не думалъ и не имѣлъ времени — даже не захватилъ съ собой италіанскаго словаря.

Но мы, русскіе, находимся въ такомъ необыкновенномъ и напряженномъ положеніи, что инныя мысли невольно и всеильно овладѣваютъ нами. Ни-

чего нѣтъ естественнѣе, что русскій человѣкъ, переѣзжая черезъ границу, почувствуетъ себя варваромъ, или, по крайней мѣрѣ, станетъ ждать себѣ великихъ поученій и откровеній. Мы, младшій изъ великихъ народовъ, поставлены судьбою въ положеніе, вѣроятно, безпримѣрное въ исторіи, въ положеніе, тяжесть котораго чувствуется на всѣхъ явленіяхъ нашей жизни. Мы живемъ въ непрерывной борьбѣ между влеченіями собственной природы, собственнаго развитія, и всемогущимъ вліяніемъ Европы. Мы то смиряемся передъ нею, какъ усердные школьники, то заносимся, какъ школьники взбунтовавшіеся; но равнодушными или спокойно-увѣренными мы не можемъ оставаться. Та вѣра въ Россію, безъ которой мы не могли бы жить, какъ не можетъ жить и отдѣльный человѣкъ, потерявшій всякую вѣру въ себя — эта глубокая и непоколебимая вѣра, конечно, живетъ въ насъ и иногда сказывается, но сказывается совершенно инстинктивно, въ формѣ безсознательнаго чувства, котораго оправдать мы не умѣемъ, которое, какъ задуваемое пламя, мечется во всѣ стороны отъ рѣзкихъ вѣяній нашей литературы, западнаго просвѣщенія, почти всѣхъ нашихъ понятій, сложившихся на европейскій ладъ. Даже тѣ, кто не скрываетъ, а исповѣдуетъ эту вѣру, должны часто сказать съ поэтомъ:

Умомъ Россію не понять,  
Аршиномъ общимъ не измѣрить;  
У ней особенная стать —  
Въ Россію можно *только върять!*

Но я все говорю объ Россіи, а мнѣ нужно говорить объ Италіи. Я хотѣлъ бы рассказать — если съумѣю — какъ Италія побѣдила меня, какъ она овладѣла мыслями, которыя были направлены совершенно въ другую сторону, какъ оставила въ душѣ неизгладимое впечатлѣніе, котораго я не ожидалъ и къ которому не готовился.

Путешествіе сдѣлало свое дѣло. Путешествіе хорошо именно тѣмъ, что оно освобождаетъ нашу душу отъ ея обыкновеннаго содержанія и дѣлаетъ ее, такимъ образомъ, доступною для мыслей болѣе общихъ и широкихъ. Уже когда вы сидите въ вагонѣ, праздно глядя въ окно, вамъ предстоитъ одно изъ двухъ — или скучать по вашимъ обыкновеннымъ занятіямъ, по тѣмъ заботамъ и удовольствіямъ, которыя мѣшаютъ думать и такимъ образомъ облегчаютъ жизнь, или же занятыя, какъ серіознымъ дѣломъ, тѣмъ думаньемъ, которое обыкновенно мы откладываемъ и даже отгоняемъ отъ себя, какъ помѣху настоящему дѣлу. Потомъ вы видите предметы новые, то есть не связанные съ міромъ вашихъ привычныхъ представленій; вы часто остаетесь къ нимъ, поэтому, равнодуш-

ными, но, если заинтересуетесь, то это будетъ уже общій, отвлеченный, чистый интересъ. Не смотря на то, сначала вы все еще полны мыслями собственной текущей жизни; если вы ѣдете не одни, отыщете знакомаго, получите письмо — нить этой жизни опять завязывается. Но проходитъ двѣ-три недѣли, и вы чувствуете наконецъ, что нить совершенно разорвалась. Вы встаете утромъ въ незнакомомъ городѣ, и чувствуете, что уже нѣтъ ни повода, ни нужды, ни возможности переворачивать въ умѣ ваши петербургскія соображенія и чувства. Душа вполне чиста, вполне свободна. А кругомъ — положимъ въ Римѣ — исторія двухъ съ половиной тысячъ лѣтъ, самая громкая изъ всѣхъ исторій міра; кругомъ — единственные по обилію и красотѣ собранія произведеній искусства. Идите и смотрите — и если вы теперь не поймете, что такое исторія и въ чемъ сущность искусства, то едва ли будетъ у васъ для этого лучшее время.

Мы только переночевали въ Варшавѣ, только сутки провели въ Вѣнѣ и пустились въ Венецію. Я ѣхалъ, еще не имѣя твердаго плана, еще не рѣшивши вполне, какъ проведу эти два мѣсяца. Но когда мы переѣхали италіанскую границу, когда я вмѣсто нѣмецкаго услышалъ пѣвучій италіанскій языкъ, когда увидѣлъ эти красивыя, спокойныя и мягкія лица, эту спокойную, мягкую

вѣжливость—во мнѣ шевельнулось радостное чувство, и я рѣшилъ, что кромѣ Италіи никуда не поѣду. Тутъ начинался другой міръ, люди другого склада, другой исторіи. Въ самомъ дѣлѣ, отъ Петербурга до итальянской границы, какъ мнѣ показалось, не было замѣтно никакого рѣзкаго перехода. Польскій край не отдѣляется рѣзко отъ русскаго, и Австрія, которую я тутъ видѣлъ въ первый разъ, оказалось прямымъ продолженіемъ нашего польскаго края. Въ поѣздѣ, который везъ насъ въ Вѣну, ѣхалъ какой-то отрядъ солдатъ, и мы замѣтили, что многія лица имѣли даже нашу славянскую фizioномію. Вообще, Австрія не поражаетъ тѣмъ порядкомъ, чистотою, воздѣланностію cadaго клочка земли, тѣми очевидными знаками настойчиваго и точнаго труда, которыми я былъ пораженъ двѣнадцать лѣтъ назадъ, когда въ первый разъ переѣхалъ границу въ Эйдкуненѣ. Но нужно сказать еще болѣе. Отъ Петербурга до итальянской границы несомнѣнно существуетъ какое-то однообразіе—въ одеждѣ, въ манерѣ держать себя, въ стрижкѣ волосъ, постройкѣ домовъ и т. д. Я никогда не думалъ, чтобы нѣмецкое вліяніе было у насъ такъ сильно. Это трудно-уловимое внѣшнее сходство особенно рѣзко бросилось мнѣ въ глаза на обратномъ пути. Мѣсяца полтора я бродилъ по улицамъ итальянскихъ

городовъ и такъ же привыкъ къ ихъ фізіономіи, къ фігурамъ ихъ жителей, какъ и къ вѣчно-ясному небу. Пришлось наконецъ ѣхать—и я изъ Милана прямо перенесся въ Мюнхенъ, котораго никогда прежде не видалъ. Уже вовремя переѣзда меня заинтересовалъ одинъ нѣмецъ, который всѣмъ, и ростомъ, и фігурой, и страшными нижними челюстями, живо напоминалъ Бисмарка; конечно, въ Италіи нѣтъ и тѣни такой породы людей, и я смотрѣлъ на него съ невольнымъ вниманіемъ. Но еще сильнѣе меня поразила фізіономія домовъ, когда мы стали подъѣзжать къ Мюнхену. Въ нихъ было, во первыхъ, что-то мизерное и неизящное, а во вторыхъ, что-то знакомое, родное. Я вздохнулъ по Италіи, которая, вообще, никогда не казалась мнѣ такою царственною, величавою, какъ въ эти два три дня, пока я ѣхалъ по Германіи. Впечатлѣніе первыхъ домовъ Мюнхена усилилось, когда на другой день я сталъ гулять по городу, заходить въ музеи, кафе и т. д. Не съумѣю точно выразить, въ чемъ дѣло, но я живо чувствовалъ, что здѣсь не чудесный міръ Италіи, а все будничное, и при томъ очень похоже на наше. Напримѣръ, меня удивили бюсты съ воротниками, подпирающими челюсти, съ усами, съ бакенбардами. Бюстъ съ банбардами!—ни одного такого бюста вы не встрѣтите въ цѣлой Италіи, а тамъ

дѣлають бюсты двѣ тысячи лѣтъ! Но у всѣхъ или полная борода, или все лицо голое.

И такъ, я остался въ Италіи и пробылъ въ ней все время, какое было можно. Кромѣ симпатіи къ италіанцамъ, у меня прежде всего было желаніе насладиться природою; я воображалъ чудеса, я думалъ, что увижу что нибудь даже лучше удивительныхъ дней, проведенныхъ мною на южномъ берегу Крыма, что повторятся и будутъ окружать меня по цѣлымъ днямъ тѣ волшебныя картины, тѣ сказочно прекрасныя краски и тѣни, которыя я когда то видѣлъ нѣсколько минутъ на озерѣ Четырехъ Кантоновъ, или въ гавани Ливорно, когда я пріѣхалъ туда моремъ при восходѣ солнца. Но эти ожиданія не сбылись. Зима въ нынѣшнемъ году была въ Италіи суровая, и потому весна наступила поздно и слишкомъ быстро. Въ Венеціи было дождливо и холодно. Мы передвинулись прямо въ Неаполь (черезъ Анкону), но и тамъ было тоже. Такъ и не видалъ красиваго моря, то есть моря въ полной его красотѣ. Я ждалъ въ Неаполѣ сколько можно, но такъ и не дождался настоящихъ неаполитанскихъ дней. Два три ясныхъ дня были слишкомъ вѣтрены и недостаточно теплы. Первые дни въ Римѣ—опять дождь, а потомъ быстро стало тепло, такъ что не было того *средняго времени*, которое

такъ цѣнять и пріѣзжіе и сами италіянцы. Такъ и случилось, что я не видалъ того прозрачнаго воздуха, *отъ котораго зависитъ вся прелесть видовъ*, который мы, жители сѣвера, знаемъ только по картинамъ, и который въ дѣйствительности превосходитъ (въ одномъ, по крайней мѣрѣ, отношеніи), всякую картину. Картина, какъ извѣстно, яснѣе выражаетъ намъ смыслъ зрѣлища, его гармонію; она можетъ даже передать рѣзко впечатлѣніе цвѣтовъ, уловивъ вполне ихъ контрастъ, всю силу ихъ взаимнаго отношенія. Но она не можетъ доставить того какъ-бы *физическаго* наслажденія, которое дается созерцаніемъ роскошныхъ красокъ и далекихъ видовъ въ дѣйствительности. Тутъ глазъ какъ будто пьетъ эти краски, какъ будто плаваетъ въ нихъ, тонетъ и погружается, и это впитываніе только вновь рождаетъ жажду, это погруженіе непрерывно освѣжаетъ. Первое условіе такого наслажденія есть чистый воздухъ, въ которомъ бы самыя дальніе предметы обрисовывались совершенно отчетливо. Облака имѣютъ мало красоты именно потому, что они мало отчетливы. Очевидно, органъ зрѣнія (то есть не глазъ, а наша душевная сила) чувствуетъ радость своей дѣятельности, когда схватываетъ пространственныя отношенія вполне опредѣленно. Другая его радость—пріятный цвѣтъ; но цвѣтъ предметовъ



всегда становится пріятенъ, какъ скоро вы ихъ видите на очень далекомъ разстояніи. Воздухъ отнимаетъ у красокъ ихъ рѣзкость и терпкость; онѣ получаютъ нѣжный отливъ и какой то блескъ, такъ что, напримѣръ, дальнія горы стоятъ точно серебряныя или стекляныя.

Говорятъ: „увидѣть Неаполь и потомъ умереть!“ Въ этой поговоркѣ, безъ всякаго сомнѣнія, подразумѣвается „увидѣть *съ моря*“, увидѣть издали весь амфитеатръ города, расположеннаго вокругъ залива на покатостяхъ горъ и спускающагося къ самому морю. Я очень старался увидеть это зрѣлище въ его полной красотѣ—и не видалъ. Я дважды пускался въ море на дрянномъ пароходѣ, который каждый день совершаетъ увеселительную поѣздку въ Сорренто, на Капри, и потомъ назадъ. Во второй разъ я долго выжидалъ; утромъ я бывало тотчасъ выходилъ на набережную Santa Lucia (Hôtel de Rome стоитъ тутъ же на набережной) и смотрѣлъ на море. Выхожу разъ и вижу наконецъ, что утро восхитительное; море совершенно утихло, и по немъ пошли зеркальныя дорожки. Я тотчасъ собрался и думалъ уже, что мое желаніе навѣрное исполнится, что я увижу ту картину, послѣ которой можно умереть. Но воздухъ оставался слегка туманнымъ, какъ и прежде; чѣмъ шире развертывался передъ глазами Неаполь,

тѣмъ хуже онъ былъ видѣнъ. И чѣмъ дальше мы плыли, тѣмъ больше портилась погода; не успѣли мы доѣхать до Капри, какъ вѣтеръ усилился и по небу потянулись бѣлыя полосы, а къ вечеру, на обратномъ пути, мы не только не видѣли хорошенько Неаполя, а еще иззябли и шли съ порядочною качкою.

Гораздо больше и удачнѣе я наслаждался другимъ зрѣлищемъ — видомъ Неаполитанскаго залива, тѣмъ чудеснымъ видомъ, который открывается изъ самаго Неаполя и составляетъ всегдашнюю картину, развернутую передъ его жителями. Лучшій видъ на эту картину, безъ сомнѣнія, съ набережной Santa Lucia, на которой я жилъ. Если представить себѣ Неаполитанскій заливъ въ видѣ подковы, то эта набережная прійдется на одномъ концѣ подковы, а Везувій на другомъ. Santa Lucia имѣетъ небольшое протяженіе, и только съ нея открывается полная красота залива. Красота эта заключается въ томъ, что вы видите огромное пространство и множество предметовъ, видите большое протяженіе воды, загибающійся берегъ, зданія его покрывающія, горы, которыя тянутся за ними, и на концѣ подковы — Везувій. Но этого мало, Несравненное достоинство этаго вида заключается въ томъ, что его обширность не превосходитъ силъ человѣческаго зрѣнія и потому не сопровождается

никакимъ оптическимъ обманомъ. Не мало видовъ на землѣ, которые гораздо шире и разнообразнѣе; но обыкновенно зрѣніе уже не въ силахъ схватить точное отношеніе предметовъ. Далекія горы кажутся близкими, одна громоздится на другую и, вообще, глазъ находится въ полной невозможности оцѣнивать разстоянія. Между тѣмъ, Везувій не кажется близкимъ съ Santa Lucia; все разстояніе отчетливо видно, такъ что громадныя размѣры горы, всѣ очертанія строеній, тянущихся вдоль залива, вся ширина самаго залива — не скрадываются, не сливаются, а именно развертываются, разспростираются. Глазъ отчетливо видитъ самое большое пространство, какое онъ въ силахъ видѣть. Прибавьте къ этому чудесныя краски, прибавьте, что видъ заканчивается не простою горою, а *живою*, которая вѣчно дымать, вѣчно пламенѣетъ внутри — и вы получите эту несравненную картину, самую живую, самую отрадную для глазъ.

Santa Lucia именно по этому, по красотѣ открывающагося вида, есть лучшее мѣсто Неаполя. Она и по населенію составляетъ одинъ изъ его центровъ, но только для народа, а не для неаполитанской аристократіи и не для пріѣзжихъ богатыхъ людей. Народъ упорно удержалъ за собою лучшее мѣсто, и, такъ какъ оно, вслѣдствіе этого, шумно, не опрятно и грязно, то богатые жители и туристы

расположились на другой набережной, Chiaja, которая подъ угломъ примыкаетъ къ Santa-Lucia. Къ ней образуетъ длинную прямую линію, съ которой уже не видать залива, а видно только открытое море. Вдоль самаго берега тянется узкій садъ, такъ называемая Villa Reale — главное гулянье Неаполя. За садомъ идетъ узкая дорога для прогулки верхомъ; за этой дорогой — мостовая для катанья въ экипажахъ, за мостовой — рядъ огромныхъ домовъ, на половину отелей, которые, такимъ образомъ, смотрятъ своими окнами на открытое море. Въ праздничный день, въ воскресенье передъ обѣдомъ, то есть передъ закатомъ солнца, все здѣсь бываетъ удивительно полно; нѣтъ конца пѣшеходамъ, экипажамъ и верховымъ.

Къ сожалѣнію, зрѣлище довольно однообразно. Въ одной части сада есть, впрочемъ, чудесныя деревья, на примѣръ, нѣсколько огромныхъ финиковыхъ пальмъ. Какъ разъ на половинѣ линіи сада въ праздничные дни играетъ небольшой оркестръ военной музыки. Я купилъ себѣ не далеко стулъ и усѣлся такъ, чтобы какъ можно удобнѣе разсматривать гуляющихъ. Эта однообразная толпа щеголей оказалась безъинтересною. Когда я просидѣлъ полчаса, всматриваясь въ гуляющихъ, я сталъ думать: „странно! здѣсь все молодые люди; куда же дѣвались старики?“ Я сталъ внимательнѣе, и тогда только

замѣтилъ, что у многихъ волоса на вискахъ и затылкѣ сильно серебрятся. Усы, очевидно, подкрашены, а по чертамъ лица вы ни за что не отличите старика. У насъ въ тридцать лѣтъ на лицѣ человѣка отпечатлѣваются его страсти, его душевныя движенія, а у нихъ и въ пятьдесятъ лицо еще чисто, какъ у юноши, безъ привычныхъ морщинъ, безъ укоренившихся гримасъ. Какія чудесныя лица! Неаполитанцы славятся своею красотою — и справедливо славятся. Правда, русскія дамы все говорятъ, что лица ихъ мало выразительны, мало подвижны, похожи на парикмахерскія вывѣски — точно такъ какъ у италіанокъ наши мужчины не находятъ въ лицѣ игры ума, тонкой психической жизни. Но эти сужденія очевидно внушены пристрастіемъ къ нашему сѣверному типу красоты. Неаполитанцы — я говорю именно о неаполитанцахъ, а не о другихъ италіанцахъ — имѣютъ правильныя южныя черты, особенно замѣчательныя мягкостію. Я старался отдать себѣ отчетъ, въ чемъ состоитъ эта мягкость, и замѣтилъ только, что углы нижней челюсти у нихъ какъ-то сглажены. Странно, что женщины представляютъ совершенно тотъ же типъ, но не только не красивы, а скорѣе дурны.

А какъ держать себя эти красивые мужчины! Вотъ образецъ хорошихъ манеръ, въ наилучшемъ

смыслъ этого слова. Никакой изысканности или чопорности, ни тѣни франтовства, фатства, холодности, надутости и тому подобнаго. Все такъ просто, мягко, ясно и спокойно, какъ только можно пожелать. Я помню, какъ однажды, идя по главной улицѣ Неаполя, я все больше и больше поражаюсь спокойствіемъ и ясностію этихъ лицъ, безъ конца мелькавшихъ предо мною. Я всматривался, желая подмѣтить выраженіе страданія, озабоченности, какого нибудь напряженія, — и не находилъ ничего. Въ самый разгаръ уличнаго движенія и на лицахъ самыхъ послѣднихъ бѣдняковъ не было даже торопливости. Вдругъ на поворотѣ мнѣ что-то загородило дорогу. Это былъ пышный открытый экипажъ, въ названіи котораго боюсь ошибиться. Я поднялъ глаза: въ немъ сидѣли, ожидая чего-то, пожилая дама и пожилой мужчина, и на лицахъ ихъ мнѣ бросилось въ глаза такое выразительное смѣшеніе тщеславія, раздраженности и изношенности, что контрастъ съ окружающимъ населеніемъ вышелъ необыкновенно рѣзкій. Дѣйствительно, это были пріѣзжіе, и даже — русскіе.

Право, удивительное впечатлѣніе производитъ уличная толпа въ Италіи. Они всѣ чистенько одѣты; они не кричатъ, не толкаются, не харкаютъ, не сморкаются, и, вѣроятно, не плевали бы, если бы беспрестанно не курили. Если кто нибудь толкнетъ

васъ или отхаркнется надъ самымъ ухомъ — посмотрите хорошенько, и вы всегда найдете, что это нѣмецъ, методически совершающій *pутешествіе* для довершенія своего образованія. Пьяныхъ въ Италіи нѣтъ; если же когда и случится такой грѣхъ, сейчасъ видно, что они не умѣютъ и быть пьяными. Отъ лишняго вина они не оживляются, а засыпаютъ какъ дѣти. Мнѣ довелось раза два видѣть эти идиллическія сцены, и каждый разъ почему-то въ театрѣ. Театры я усердно посѣщалъ, несмотря на то, что главные были уже закрыты. Италіанцы слушаютъ музыку и смотрятъ драматическія представленія съ самою наивною жадностію, и тишина въ театрахъ прерывается развѣ только восклицаніями въ полголоса, — знаками живѣйшаго наслажденія. И музыка, и пѣніе, и игра — все очень вѣрно и правильно, хотя на мелкихъ театрахъ, разумѣется, оркестры ничтожные, голоса крошечные и актеры рядовые. Я слышалъ однако безподобнѣйшую Церлину въ „Фра-Діаволо“, и чудеснаго гуляку офицера въ опереткѣ „Educande di Sorrento“, пьесѣ домашняго неаполитанскаго сочиненія. Они нѣли въ совершенствѣ, хоть и небольшими голосами.

Вѣжливость эсть неизмѣнная черта италіанцевъ — и какая вѣжливость! Простая, спокойная, ровная, не заученная, а присущая въ самой крови.

Французы, знаменитые своею вѣжливостію — и тѣ замѣчаютъ эту черту, какъ что-то особенное. Такъ Тэнъ, отзывающійся съ величайшимъ презрѣніемъ, хотя и добродушнымъ, о невѣжествѣ италіанцевъ, объ ихъ праздности и распутствѣ, о скудости ихъ умственной и политической жизни, говоритъ, однако, что жить среди такого вѣжливаго населенія пріятно. Но меня эта черта наводила иногда на грустные размышленія. Вѣжливость — вѣдь это добродѣтель старыхъ народовъ, это признакъ долгой опытности. Все время, какъ я былъ въ Италіи, я невольно вспоминалъ, что нахожусь среди народа, которому отъ роду не тысячу лѣтъ, какъ намъ русскимъ, а двѣ тысячи съ половиной. И я совершенно увѣренъ, что нынѣшніе жители Неаполя имѣютъ еще много сходства съ жителями древней Партенопей, и что нынѣшніе римляне все еще похожи на римлянъ временъ Цезаря. Неаполитанцы немножко нищіе и попрошайки, римляне, напротивъ, до сихъ поръ сохранили частицу гордости, когда-то свойственной городу, владычествовавшему надъ міромъ. И такъ, исторія не сгладилась и не можетъ сгладиться до конца: она живетъ въ крови и въ душѣ этаго населенія. Вотъ гдѣ, въ этой длинной исторіи, какъ мнѣ казалось, источникъ врожденной вѣжливости италіанцевъ. Когда народъ долго и много жилъ, онъ знаетъ, что для взаимнаго удоб-



ства, для спокойствія отношеній, для легкости жизни, всего необходимѣе не братская любовь, не взаимное уваженіе, не строгая справедливость, — вещи трудно достижимыя и часто очень неудобныя, — а нужно то внѣшнее равенство и вниманіе, та внѣшняя уступчивость и готовность къ услугамъ, которыя составляютъ вѣжливость.

Есть у италіанцевъ еще явный признакъ, что они народъ старый, много жившій и испытавшій; это ихъ *dolce far niente*. Они знаятъ толкъ въ праздности и умѣютъ ею пользоваться. Этотъ народъ когда-то былъ такъ дѣятеленъ и энергиченъ, что его дѣятельность и энергія остались въ исторіи вѣчнымъ и недосягаемымъ образцемъ. Теперь — они знаютъ всю тщету дѣятельности, они пережили увлеченіе всякими подвигами, всякимъ величіемъ, и, хотя они не сдѣлались отшельниками, не отреклись отъ міра, они, однако, какъ будто питаютъ въ тайнѣ убѣжденіе, что ничего не дѣлать лучше, счастливѣе, чѣмъ суетиться по напрасну. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Италія помнитъ свою исторію, и что эта исторія ее подавляетъ. Вотъ отчего въ этой странѣ чувствуется такая спокойная, ясная тишина, не смотря на всякія поверхностныя и мѣстныя волненія.

Когда я вернулся въ Петербургъ, въ три дня перенесшись сюда изъ Милана, я былъ пораженъ

рѣзкимъ контрастомъ. Желѣзныя дороги своею быстротою и своими закупоренными вагонами удивительно способствуютъ ощущеніямъ такихъ контрастовъ. Я вдругъ попалъ въ большую суету: всѣ заняты, всѣ торопятся; на лицѣ каждаго прохожаго вы прочитаете очень ясное выраженіе хлопотливости, самодовольства, радости, труда, наемѣшки... Подвижныя и разнообразныя лица ни на минуту не остаются спокойными. А сверхъ того: всѣ улицы чинятся, на каждой строятся и красятся дома, вездѣ заборы и тачки, всѣ каналы полны барокъ съ кирпичами и известкой, и ни одного человѣка *гуляющаго* по этимъ улицамъ — былъ конецъ мая, и всѣ, кто можетъ и умѣетъ гулять, уже покинули городъ. Словомъ, Петербургъ имѣлъ всѣ признаки города, который только еще строится, а его жители — людей очень мало жившихъ на свѣтѣ. „О, мы еще молоды и еще свѣжи!“ подумалъ я.

Неаполитанскій заливъ открывается со многихъ точекъ Неаполя, хотя, разумѣется, изъ улицъ, большею частію страшно узкихъ, и изъ домовъ, стоящихъ сплошными массами, его не видать. Но недавно стали проводить и уже почти кончили новую очень длинную улицу — Corso Vittorio, довольно широкую и отлого поднимающуюся и извиляющуюся по горѣ; съ этой улицы безпрестанно

видѣнь заливъ. Я любовался заливомъ однако же еще лучше, чѣмъ съ Corso Vittorio; въ самый ясный мой день въ Неаполѣ я былъ въ монастырѣ Санъ-Мартино, который стоитъ на самой высшей точкѣ Неаполя; видъ оттуда безподобный.

Этотъ монастырь стоить вниманія, и мое посѣщеніе принесло мнѣ много и удивленія, и самого глубокаго наслажденія.

Утромъ я вышелъ по обыкновенію бродить, и на Via Chiaja (не набережная, а улица, ей параллельная) зашелъ въ маленькую кофейную выпить чашку чернаго кофе. Я рѣшился идти въ монастырь пѣшкомъ, и потому сталъ спрашивать у хозяина кофейни дорогу. (Кстати — какое удовольствіе — пытаться говорить на незнакомомъ языкѣ, и чувствовать, что можешь вести маленькій разговоръ!) „А вотъ, отвѣчалъ онъ, войдите палѣво во вторую дверь отсюда, подымитесь въ третій этажъ, и перейдите мостъ — а тамъ все прямо, все прямо!“ Такъ я и сдѣлалъ; я вошелъ въ какой-то домъ и въ третьемъ этажѣ, не безъ удивленія, нашелъ выходъ на мостъ, который перекинутъ *черезъ улицу* и однимъ концомъ упирается въ этотъ домъ, а другимъ продолжается въ поперечную улицу. Я пошелъ по ней и сталъ подыматься все выше и выше. Скоро улица, удобная для экипажей, прекратилась и началось пѣчто среднее между улицей

и лѣстницей. Мнѣ предложили осла — я отказался, и напрасно. Хотя снизу, съ берега, монастырь кажется близко, а цѣлый часъ подымался по этимъ отлогимъ ступенькамъ, и если не умурился до конца, то только благодаря чудесному воздуху и чудесному виду, который открывался тѣмъ шире, чѣмъ выше я всходилъ.

Наконецъ, вотъ ворота. Такъ какъ я очень непрілежно штудировалъ своего Бэдекера, то я вообразилъ, что тотчасъ увижу монаховъ, заготовилъ нѣсколько вопросовъ по итальянски и соображалъ — не застану ли какой службы. Во мнѣ заговорило любопытство и чувство нѣкотораго умиленія. Вхожу въ ворота — пусто, никого нѣтъ. Прохожу въ другія ворота — опять пусто, и только стоятъ какіе-то запряженные экипажи. А! подумалъ я: это богатые богомольцы — вѣрно есть служба. Перехожу дворъ и хочу пройти въ третьи ворота мимо какихъ-то военныхъ. „Возьмите билетъ“, говорятъ мнѣ. Вижу столикъ и за нимъ солдата съ билетами. „Сколько? — Одинъ франкъ“.

Какое разочарованіе! Монастырь упраздненъ — и правительство показываетъ его за деньги. Я взялъ билетъ, вошелъ въ какой-то крытый дворикъ, отказался отъ провожатаго и сѣлъ отдыхать на отворенномъ балконѣ. Морѣ блестѣло великолѣпной лазурью; видѣнъ былъ не только заливъ, но

и тотъ горизонтъ, который открывается съ Chiaja. Я зналъ, что цвѣтъ неба бываетъ несравненно гуще, что дымъ изъ Везувія иногда подымается узкимъ столбомъ, а не сносится вѣтромъ, какъ теперь; но и то, что я видѣлъ, было очень ярко, очень красиво, очень радостно.

Отдохнувши, я пустился бродить одинъ по монастырю и скоро попалъ въ монастырскій дворъ, тотъ самый, о которомъ пишетъ Тэнъ, какъ о главной красѣ монастыря. Постройка такихъ дворовъ (chios-tro) вездѣ одинакова: по всѣмъ четыремъ стѣнамъ идутъ галлерей или портики, сторона которыхъ, обращенная во дворъ, состоитъ изъ ряда колоннъ, подпирающихъ легкія арки. Дворъ, въ которомъ я очутился, былъ очень великъ и представлялъ неравненное великолѣпіе. Полъ, колонны, перила между ними, барельефы на стѣнахъ, колодезь посреди двора, ограда, плиты и памятники кладбища, занимающаго одинъ уголъ двора—все было изъ бѣлаго мрамора, мрамора удивительной бѣлизны и, кромѣ того, полированного. Ряды колоннъ—стройныхъ, сіящихъ—составляли чудесное зрѣлище. На низкой оградѣ кладбища лежали черепа изъ полированного мрамора, какъ-будто настоящія костяные черепа. Я ходилъ по этимъ мраморнымъ галлереемъ, и не могъ досыта налюбоваться ими. Тутъ когда-то, думалъ я, прохаживались

монахи, навсегда ушедшіе отъ міра въ это убожище. Теперь все пусто. Ходитъ одинъ сторожъ и метелкой обмахиваетъ рѣзбу мраморныхъ перилъ, какъ будто эта драгоценная вещь стоитъ не на открытомъ воздухѣ, не на дворѣ, а гдѣ-нибудь въ залѣ большого музея. Большой простоты и болѣе царскаго вѣликолѣпія невозможно придумать для мѣста посвященнаго созерцательнымъ прогулкамъ.

Долго я не могъ вырваться изъ очарованнаго двора; наконецъ, принялся искать выхода, прошелъ одинъ, другой корридоръ, отворилъ маленькую дверь, — вижу какую-то большую залу. Вхожу, вижу сторожъ съ метлой и въ шанкѣ говоритъ о чемъ-то съ солдатомъ въ кепи. Осматриваюсь — да вѣдь мы въ алтарѣ! Я невольно снялъ шляпу. Зачѣмъ же кощунствовать? Зачѣмъ безъ всякой нужды и цѣли выказывать неуваженіе, или даже только пренебреженіе, къ предметамъ, которыхъ весь смыслъ — въ глубочайшемъ благоговѣніи?

Я вышелъ на средину пустой церкви, подпаль глаза и обомлѣлъ отъ восхищенія. Колонны, своды, карнизы, мраморные завитки и перилы — все какъ-будто пѣло и играло, какъ-будто подымалось, закруглялось, вилось, протягивалось въ стройныя линіи, неслоь одно надъ другимъ, опиралось одно на другое. Впечатлѣнія прекрасной архитектуры

невыразимы словами. Я слышалъ во всемъ что-то живое, какую-то свѣтлую и тихую гармонію. Вотъ я опустилъ глаза—и все исчезло; подымаю глаза—и опять все поетъ, и невозможно пасмотрѣться.

Церковь эта имѣетъ свѣтлый, радостный характеръ, безъ всякой тѣни мрачности и страха: она очень величава, но безъ того величія, которое подавляетъ. Въ ней все изъ мрамора разныхъ цвѣтовъ, больше всего свѣтлыхъ. Статуи и барельефы—полированы самымъ тщательнымъ образомъ, такъ что производятъ не привычное намъ впечатлѣніе мрамора, а походятъ на отличный фарфоръ, покрытый глазурью. Сначала это странно, но потомъ глазъ находитъ въ этой политурѣ большую пріятность. Нѣкоторыя статуи Микель Анджели (напримѣръ Моисей) тоже полированы.

Потолокъ и стѣны церкви покрыты огромными картинами, конечно, лучшихъ художниковъ. Но я не сталъ на нихъ смотрѣть, я старался только насытить свои глаза зрѣлищемъ удивительнаго зданія; съ сожалѣніемъ взглянулъ я даже на англичанина, который вошелъ послѣ меня, снялъ шляпу такъ же какъ и я, но тотчасъ же уперся глазами въ свой гидъ, отыскивая, что именно слѣдуетъ здѣсь смотрѣть, и пошелъ методически отъ одной картины къ другой. Я не смотрѣлъ на картины, и это былъ первый опытъ, показавшій мнѣ сла-

бую сторону живописи вообще. Я потому могъ не смотрѣть на картины, что онѣ не имѣютъ достаточно силы, чтобы *заставить* на себя смотрѣть. Вообще говоря, это довольно тусклыя пятна, которыя получаютъ смыслъ только при нарочномъ вниманіи, на нихъ обращенномъ. То ли дѣло статуя, сводъ, колоннада! Тутъ вы, напротивъ, не можете уйти отъ впечатлѣнія, не можете не видѣть. Картина требуетъ большой сохранности, хорошаго освѣщенія,—и при всемъ этомъ нужно еще выбирать точку, гдѣ стать, ту единственную точку, съ которой надлежащимъ образомъ видна картина. Я говорю здѣсь о картинахъ масляными красками; фрески уже имѣютъ то преимущество, что этой точки выбирать не нужно, что можно идти мимо изображенія и оно не искажается передъ вашими глазами. Въ монастырскихъ переходахъ—вотъ гдѣ настоящее мѣсто фрескъ, гдѣ онѣ достаточно освѣщены, лахоятся на надлежащей высотѣ, представляютъ все условія, при которыхъ можно долго и удобно созерцать живописное изображеніе. А еще лучше живопись на стеклахъ оконъ. Только она обладаетъ всею силою и прелестью, какую могутъ имѣть краски и фигуры, изображенныя на плоскости. Эффектъ нѣсколькихъ такихъ картинъ въ Миланскомъ соборѣ—впечатлѣніе въ.

Другое дѣло, говорю, статуя. Она бросается



въ глаза во сго разѣ сильнѣе, чѣмъ картина; обойдите ее кругомъ—вы не потеряете, а съ каждымъ шагомъ уясните себѣ и усилите ваше впечатлѣніе. И если вы ее уже знаете, то издалека, въ полутьмѣ, даже завидѣвъ только часть, голову или руку, вы почувствуете всю силу фигуры.

Но всего неотразимѣе дѣйствуетъ внутренность храма. Когда войдете въ Пантеонъ, то куда бы вы ни обратили взоръ, гдѣ бы ни стали и какъ бы ни пошли, зданіе будетъ обнимать васъ своимъ впечатлѣніемъ, не дастъ вамъ ни на минутку выйти изъ-подъ своего вліянія. Таково дѣйствіе готическихъ храмовъ, напримѣръ св. Стефана, которому я удивлялся въ Вѣнѣ; таково дѣйствіе и церкви въ Санъ-Мартино.

О томъ, чѣмъ достигается эта цѣльность впечатлѣнія, эта сила охватыванія, я покамѣстъ не стану говорить. Замѣчу только одно обстоятельство — монастырь Санъ-Мартино не имѣетъ никакой красоты снаружи, не представляетъ никакого вида; такъ и его чудесная церковь хороша только внутри. Впослѣдствіи я убѣдился, что это не случайность, а, очевидно, дѣло сознательное и умышленное, что, тогда какъ мы хлопочемъ о красивой наружности нашихъ церквей и зданій, тутъ все жертвовалось внутренности зданія. Пантеонъ, Ватиканъ—снаружи ничего не представляютъ и не

должны были представлять: между тѣмъ внутри Пантеонъ—конечно, первое зданіе въ мірѣ; а Ватиканъ наполненъ внутри чудесными лѣстницами, залами, церквами, накопецъ, заключаетъ въ себѣ сады и дворы, устроенные съ величайшей художественной обдуманностью. Какой прекрасный и въ высшей степени правильный расчетъ! Не есть ли внутренность—настоящая цѣль, главный смыслъ зданія? И что хорошаго, напримѣръ, въ такомъ храмѣ, какъ нашъ Исаакіевскій соборъ, который снаружи красивъ, особенно издали, но внутри не производитъ никакого впечатлѣнія?

Я оставилъ Санъ-Мартино сытый духовно и отчасти растроганный. Передо мною мелькнула минувшая жизнь, которая тутъ оставила не слѣды свои, а полное, законченное выраженіе. Монахи, жившіе въ этомъ монастырѣ, очевидно располагали возможностью устроить себя такъ, какъ только хотѣли, какъ имъ могло вздуматься. Они выбрали самую живописную точку Неаполя и наполнили свое жилище чистымъ какъ снѣгъ мраморомъ. На всякую мелочь они положили печать своего характера, все устроили въ совершенной гармоніи съ духомъ своего благочестія, свѣтлаго, чистаго, радостнаго благочестія. Кто бы ни были эти люди, и каковы бы они ни были въ дѣйствительности, но въ идеѣ они были и хотѣли быть такими, какъ этотъ монастырь.

И что же теперь? Монастырь пусть; онъ—трупъ, сохранившій и красоту и даже выраженіе нѣкогда жившаго человѣка, но уже не имѣющій души, уже беззвучный, холодный, неподвижный. Онъ однако же не только продолжаетъ существовать, но получилъ повидимому новое, совершенно опредѣленное отпращиваніе, новую жизнь. Для поученія жителей Неаполя и пріѣзжихъ иностранцевъ онъ обращенъ въ музей, не просто какъ помѣщеніе, нѣтъ—всѣ его постройки, вся его утварь—обращены сами въ предметы искусства. Церковь и дворъ—это образцы зодчества, алтари и распятія—образцы скульптуры, иконы—образцы живописи. Все получило новый смыслъ и въ качествѣ предметовъ, имѣющихъ этотъ смыслъ, собирается, показывается и разсматривается. Сторожа обмахиваютъ пыль можетъ быть даже тщательнѣе, чѣмъ дѣлали это монахи, и англичане, приближая лицо къ самому престолу, тонко обсуждаютъ достоинство камней, металловъ и работы. Впрочемъ, къ монастырю, для большей поучительности музея и чтобы утилизировать мѣсто, сдѣланы нѣкоторые прибавленія: въ большой залѣ стоитъ чудовищно величины золотая карета, въ которой кто-то когда-то совершалъ свой въѣздъ въ Неаполь. Есть также сѣдла совершенно необыкновенныя, и другія подобныя древности.

Черезъ мѣсяцъ послѣ моего хожденія въ Сантъ-Мартино, я видѣлъ другой монастырь, несравненно болѣе знаменитый и точно также обращенный въ предметъ искусства. Это Сантъ-Марко во Флоренціи, монастырь Савонаролы и Беато Анжелико. Изъ него также сдѣлали музей, обратили его въ хранилище вещей достойныхъ изученія, состоящее, впрочемъ, почти исключительно изъ самаго монастыря. Вамъ показываютъ удивительно-сохранившіеся фрески, которыми расписаны всѣ стѣны монастырскаго двора и изъ которыхъ многія писаны самимъ Анжелико; потомъ ведутъ въ кельи—каждая изъ нихъ драгоцѣнность, потому что въ каждой такой крошечной комнатѣ есть фреска, составлявшая когда-то икону для монаха, а теперь составляющая образецъ искусства извѣстнаго періода. Наконецъ, сторожъ, въ надеждѣ на десять сантимовъ, предложилъ мнѣ отворить стеклянную дверь въ огромную залу, наполненную знаменами всей Италіи, которыя здѣсь помѣстили не помню ужъ по какому случаю; къ огорченію его я отказался. Знамена не предметъ художества, а эти не были даже предметомъ археологіи—я не хотѣлъ нарушать цѣльности своего впечатлѣнія.

Церковь Сантъ-Марко еще не принадлежитъ къ предметамъ музея: въ ней продолжаетъ совершаться богослуженіе.

Эти монастыри были для меня однимъ изъ самыхъ поразительныхъ зрѣлищъ въ Италіи. Мнѣ казалось, что тутъ я вижу на дѣлѣ, на живомъ фактѣ—судьбу искусства, тотъ законъ, по которому идетъ его исторія. Нѣкогда искусство было въ тѣсной связи съ жизнью, составляло ея органическую принадлежность; теперь оно совершенно оторвано отъ жизни, не имѣетъ къ ней прямого, живаго отношенія, существуетъ въ отвлеченномъ видѣ. Люди, строившіе монастырь, предполагали вести опредѣленный образъ жизни, посвятить себя извѣстнымъ занятіямъ. Для этого строились кельи, переходы, храмы; для этого на стѣнахъ писались картины, въ нишахъ ставились статуи; для этого въ извѣстномъ мѣстѣ ставился органъ, и сочинялись музыкальныя пьесы, имѣющія опредѣленный смыслъ и исполнявшіяся въ опредѣленное время. Словомъ—искусство имѣло полную жизненность.

Нынче все перемѣнилось. Художникъ, точно такъ же какъ писатель и ученый, не имѣютъ нынче ни установившихся цѣлей, ни опредѣлившейся публики; они не знаютъ, надъ чѣмъ именно слѣдуетъ трудиться и для кого именно они трудятся. Они предоставлены самимъ себѣ, должны въ себѣ самихъ найти свои задачи. И вотъ, художникъ или ученый, ни съ чѣмъ ни связанный, ни чѣмъ не направляемый, создаетъ въ своей комнатѣ

книгу, картину, симфонію, и затѣмъ бросаетъ ее въ житейское море, въ темныя волны публики. Твореніе исчезаетъ изъ глазъ своего творца, погружаясь въ эти волны и носясь по всякимъ вѣтрамъ. Ему нѣтъ назначеннаго мѣста и употребленія. Кто-нибудь, человѣкъ неизвѣстный писателю и художнику, купитъ книгу и будетъ ее читать, запершись въ своемъ кабинетѣ, купитъ картину, или статую—и помѣститъ ее въ своей комнатѣ, въ такомъ углу, на такой стѣнѣ, о которой художникъ не знаетъ и даже не думаетъ. Понятно, что у насъ архитектура сама по себѣ, живопись сама по себѣ, а книги не имѣютъ ничего общаго ни съ тою, ни съ другою. И понятно, что искусство должно страдать отъ этого, что оно дробится и понижается. Оно естественно спускается на уровень, на которомъ катятся волны публики. Поэтому вмѣсто книгъ являются газеты, журналы; поэтому романъ, картина и статуя все больше и больше склоняются къ жанру. Создается лишь то, что понятно и удобно для отдѣльнаго лица, процвѣтаетъ комнатное искусство, а не искусство соответствующее какойнибудь общей жизни, какимънибудь идеямъ, стоящимъ выше толпы и отдѣльных лицъ.

И это видно въ Италіи. Нѣтъ конечно страны болѣе богатой произведеніями искусства; она вся

изукрашена ими; ея улицы, площади, дома—часто представляют не просто мѣста, удобныя для того, чтобы жить, ходить и ѣздить, а истинно-художественныя созданія, назначенныя для того, чтобы ихъ созерцать. Бродивши полтора мѣсяца по Венеціи, Неаполю, Риму и Флоренціи, я вынесъ изъ этихъ городовъ такое впечатлѣніе изящества, граціи, пышности, величавости, что Италія, эта бѣдная Италія, гдѣ на первый взглядъ все имѣеть видъ тусклый и изношенный, все покрыто пылью и отчасти грязью,—Италія теперь встаетъ передо мною въ какой-то царственной роскоши, о которой нельзя и думать другимъ странамъ. И это впечатлѣніе художественности ясно распадается для меня на два отдѣла: одинъ разрядъ созданій искусства составляютъ остатки древняго міра, другой — памятники среднихъ вѣковъ и возрожденія; но нынѣшней красоты, современныхъ произведеній искусства я не видалъ, или почти не видалъ. Въ тѣ прошлыя времена искусство очевидно, жило могучею, великою жизнью, и плоды этой жизни на лицо; какъ оно живетъ нынче—трудно рассмотреть и мудрено сказать.

Чтобы отыскать современное искусство, нужно идти не на форумъ, не въ храмъ или монастырскій дворъ, а въ мастерскія самихъ художниковъ, или на выставки, или наконецъ въ музеи, въ част-

ныя и казенныя галереи. Это обстоятельство всего лучше показываетъ, что въ наше время художественныя произведенія не имѣютъ каждое *своего* мѣста, и потому ихъ можно помѣстить гдѣ угодно, и слѣдовательно поставить въ такое мѣсто, которое ни для чего не служитъ, въ которомъ никто не живетъ и никто ничего не дѣлаетъ. Что такое музей? Это не помѣщеніе для человѣка, а помѣщеніе для вещей, какъ кладовая, какъ мебельная лавка, какъ комната, наполненная коллекціею старинныхъ предметовъ, гдѣ жить неудобно уже по самому множеству этихъ предметовъ и потому, что они не приспособлены и даже не годны ни къ какому употребленію. Такъ точно и музыкантъ въ наше время пишетъ симфонію не для того, чтобы она исполнялась въ храмѣ во время молитвы, или въ балльной залѣ во время танцевъ, или на площади во время церемоніальнаго марша войскъ; нѣтъ—онъ пишетъ ее прямо для концертной залы, то-есть такой залы, въ которую люди сойдутся только за тѣмъ, чтобы выслушать его симфонію, и которая ни съ этою симфоніею, ни съ чѣмъ другимъ не имѣетъ никакого отношенія. И такъ, нынѣшнее искусство сдѣлалось чрезвычайно отвлеченнымъ, и въ такомъ-то смыслѣ, мнѣ кажется, можно сказать, что именно нынче господствуетъ *искусство для искусства*.



Эти мысли были мнѣ невольно и неотразимо внушены въ Италіи тѣмъ, что я видѣлъ. Много дней я ходилъ по римскимъ и флорентинскимъ галлереямъ, и каждый день съ новою силою чувствовалъ, что передо мною искусство, разорвавшее свою связь съ жизнью; помимо своей воли я становился на точку зрѣнія отвлеченнаго искусства. Чистое искусство, искусство, имѣющее свою цѣль само въ себѣ—вотъ настоящая идея всякой галлерей, всякаго музея, вотъ смыслъ собраній Ватикана, Капитолія, Уффици.

Что же открываютъ намъ эти богатѣйшія въ мірѣ собранія? Въ чемъ состоитъ сущность искусства, взятаго отрѣшенно? Чему оно насъ учитъ, къ чему ведетъ, зачѣмъ существуетъ?

Не буду здѣсь развивать своихъ мыслей, которыми я такъ удобно предавался вдали отъ всякихъ заботъ, самъ отрѣшившись на время отъ всякой жизни. Лучше я приведу одно мѣсто изъ книги Тэна „Voyage en Italie“, которую я тогда читалъ. Это мѣсто поразило меня своею правдою и очень удивило у такого писателя, какъ Тэнъ; можетъ быть и читатели раздѣляютъ мое удивленіе. Отъ 14-го апрѣля 1864 года онъ пишетъ своему пріятелю изъ Флоренціи, послѣ посѣщенія Уффици:

„Что можно сказать объ галлерей, въ которой тысяча триста картинъ? Я, по крайней мѣрѣ, от-

казываюсь; читай лучше каталоги, пересмотри эстампы, или, всего лучше, самъ пріѣзжай сюда. Впечатлѣнія, выносимыя изъ этихъ огромныхъ магазиновъ (*это слово, я полагаю, имѣетъ здѣсь у Тэна смыслъ „кладовыхъ“*) слишкомъ разнообразны и слишкомъ многочисленны, чтобы возможно было передать ихъ на письмѣ. Замѣть, что Уффици составляютъ общій складъ, въ родѣ Лувра: картины всѣхъ временъ и всѣхъ школъ, бронзы, статуи, рѣзные работы, терракотты древнія и новыя, кабинетъ дорогихъ камней, этрусскій музей, портреты живописцевъ, писанные ими самими, двадцать восемь тысячъ оригинальныхъ рисунковъ, четыре тысячи камеевъ и вещей изъ слоновой кости, восемьдесятъ тысячъ медалей. Туда идешь какъ въ библіотеку; тутъ есть все въ сокращенномъ видѣ и въ образцахъ. Прибавь, что кромѣ того ходишь въ другія собранія, въ Palazzo Vecchio, въ палаццо Корсини, въ палаццо Питти. Замѣтки накаплиются, но я не нахожу, что можно бы отобрать изъ этой массы. Мнѣ кажется, что я пополнилъ, исправилъ, отгѣнилъ нѣкоторые изъ своихъ прежнихъ понятій; но вѣдь поправокъ, дополненій, отгѣнковъ не рассказываютъ“.

„Самое простое — бросить мысль объ изученіи и прогуливаться для своего удовольствія. Подымаешься по большой мраморной лѣстницѣ; прохо-

дишь передъ знаменитымъ древнимъ ведромъ; входишь въ длинный корридоръ въ видѣ подковы, уставленный бюстами и увѣшанный картинами. Около десяти часовъ утра посѣтителѣ рѣдки; молчаливые сторожа стоятъ въ углахъ; кажется, что ты тутъ полный хозяинъ. Все это твое, и какая чистота и удобство! Приставлены консерваторы и слуги, чтобы тщательно стирать и обмахивать пыль и держать все въ строгомъ порядкѣ и сохранности; все идетъ само собою, безъ толчковъ и зацѣпокъ, безъ всякой нашей заботы; *это идеальный міръ, такой, въ какомъ намъ слѣдовало бы жить.* День прекрасный; свѣтлыя стекла бросаютъ лучи на далекія бѣлыя статуи, на розовый женскій торсъ, который какъ живой выступаетъ изъ тѣни. Необозримо тянутся ряды мраморныхъ императоровъ и боговъ, вплоть до тѣхъ оконъ, изъ которыхъ видно, какъ Арно движетъ свои мелкія волны, отливаящія чернью. *Невольно предаешься отчужденію и кроткому спокойствію отвлеченной жизни; воля теряетъ свое напряженіе, внутренняя тревога утихаетъ, чувствуешь, что становишься монахомъ—современнымъ монахомъ.* Тутъ, какъ нѣкогда въ монастыряхъ, наше внутреннее нѣжное существо, постоянно подавляемое надобностію дѣйствовать, понемногу раскрывается и вступаетъ въ общеніе съ образами, освобожденными отъ необходимостей

жизни. *Такъ хорошо—несуществовать! Такъ естественно не существовать!* И какъ безмятежно мирно это царство человѣческихъ образовъ, изъятыхъ изъ *человѣческаго водоворота!* Чистая мысль, переходя отъ однихъ изъ нихъ къ другимъ, сознаетъ, что ея иллюзія только временная: но она *раздѣляетъ съ ними ихъ безтѣлесную тишину и ясность*, и мечта, возсоздающая ихъ вождѣнія и неистовства, даетъ нашей душѣ пищу, но не возмущаетъ насъ“ \*).

Этимъ мѣстомъ, исполненнымъ такой глубины и правды, Тэнъ обязанъ своей искренности и той чрезвычайной легкости, съ какою онъ описываетъ всякое, даже мимолетное свое настроеніе, и все даже мелькомъ имъ видѣнное. Но его сочиненіе, взятое въ цѣломъ, также какъ и другія его разсужденія объ искусствѣ, ни мало не согласуются съ приведенными мною словами. Вездѣ онъ смотритъ на искусство не какъ на стремленіе къ ясному царству чистой мысли, а, напротивъ, какъ на выраженіе страстей и желаній каждой эпохи, имѣющее свой смыслъ въ этихъ самыхъ страстяхъ и желаніяхъ.

Въ галлерей Уффици этотъ взглядъ оказался неприложимымъ, или лучше, долженъ былъ под-

---

\*) Voyage en Italie, 2-me éd. Paris, 1874. Т. II, p. 158 — 159.

чиниться другому, высшему взгляду. Въ самомъ дѣлѣ, отъ самаго входа тутъ начинаются иконы, чудесныя иконы съ золотымъ фономъ, которыя еще вполне напоминаютъ нашу византійскую живопись, но составляютъ какъ бы полный ея расцвѣтъ. Потомъ вы найдете идоловъ языческихъ храмовъ; потомъ картины и статуи, которыхъ настоящее мѣсто въ комнатахъ красавицы легкаго поведенія, потомъ надгробныя плиты и изваянія, и такъ далѣе. Все это вырвано съ своего настоящаго мѣста, перемѣшано и поставлено передъ вами; иконы здѣсь—не иконы, а просто картины; идолы—не идолы, а просто статуи; и соблазнительныя изображенія также, какъ и всѣ другія, должны быть разсматриваемы только съ точки зрѣнія художества

Какое же чувство должно въ васъ пробудиться, когда передъ вами развернется рядъ такихъ предметовъ? Вы не станете молиться передъ иконами, не станете поклоняться идоламъ, не будете сластолюбиво всматриваться въ непристойности. Вы должны почувствовать, что все прямое содержаніе этого необозримаго множества созданій искусства для васъ не имѣетъ и не должно имѣть значенія, что васъ не могутъ и не должны трогать ни всѣ изображенныя тутъ *вожделѣнія и неистовства*, ни память славы и величія, ни любовь и ненависть, словомъ, никакое жизненное отношеніе, могущее

принадлежать художественнымъ произведеніямъ. Самая древняя статуя, изображающая неизвѣстное божество, о которомъ погибла всякая память, и только-что написанная картина, изображающая вчерашнее событіе, попавши въ эту галерею, становятся на одну доску, дѣлаются предметами одинаково отвлеченными, имѣютъ смыслъ только предметовъ искусства.

Понятно поэтому, что мы чувствуемъ себя здѣсь отрѣшенными отъ времени и мѣста, отрѣшенными отъ дѣйствительной жизни. И, если созерцаніе произведеній искусства, не смотря на то, наполняетъ насъ свѣтлымъ чувствомъ, если есть какая-то радость въ этомъ созерцаніи, то она не представляетъ ничего общаго съ нашими страстями и желаніями, не заключаетъ въ себѣ никакого практическаго содержанія. Яркій, разнообразный міръ художественныхъ созданій есть не только міръ идеальный, но даже имѣетъ въ себѣ нѣчто какъ бы отвергающее дѣйствительность, враждебное къ ней, такъ что Тэнъ, ходя по галлерей Уффици, справедливо могъ произнести свое парадоксальное восклицаніе: *какъ хорошо не существовать! какъ естественно не существовать!*

29 ноября 1875.

---

# Два письма изъ Рима.

(къ А. Н. Майкову).

## I.

*Римъ, Via felice. 10 мая (28 апр). 1875.*

Вы радуетесь, что я въ Италиі; я самъ до-сихъ поръ считаю это какимъ-то необыкновеннымъ происшествіемъ въ моей жизни. Между тѣмъ, я давно долженъ былъ бы убѣдиться, что это дѣло самое простое, ординарное, будничное. Образованные люди считаютъ долгомъ осмотрѣть Италію точно также, какъ, напримѣръ, выучиться пофранцузски, имѣть понятіе о Шекспирѣ и Гётте, послушать Патти, и т. п. Каждый день я вижу, какъ это дѣлается; особенно въ Римѣ дѣло это имѣетъ такіе громадныя размѣры, что передъ моими глазами сперва какъ будто носилось огромное пятно, которое закрывало собою Римъ. Поѣздъ нашъ былъ маленькій: я пріѣхалъ сюда изъ Неаполя, да и сезонъ Рима уже былъ при концѣ; но мы нашли на станціи такой длиннѣйшій рядъ омнибусовъ, ка-

кого я еще нигдѣ не видалъ. Меня привезли въ огромный отель (Hôtel de Russie), который занимаетъ мѣсто, достойное дворца, прилегая къ Monte Pincio и къ Piazza del popolo. Потомъ я увидѣлъ, что вся половина города къ востоку отъ Corso усеяна этими отелями, что ихъ въ Римѣ почти столько же, какъ palazzo, и скоро будетъ больше. Они щеголяютъ одинъ передъ другимъ роскошью и слегка поддѣлываются подъ видъ дворцовъ.

На другой день, послѣ кофе, мы сѣли въ фэ-тоны и поѣхали смотрѣть, кажется, Ватиканъ. Говорю въ *фэтоны*, потому что такъ называется этотъ самый экипажъ (полуколяска или полудрожки) въ Кіевѣ, Полтавѣ, Харьковѣ. Въ продолженіи дня вы встрѣтите эти фэтоны на всѣхъ улицахъ, но не думайте, что это ѣздятъ жители города; римляне ходятъ пѣшкомъ, а ѣздятъ все иностранцы, все обозрѣватели. Въ каждомъ фэтонѣ вы непременно увидите книжку, большею частию красную книжку Бэдекера. И затѣмъ всюду, въ Ватиканѣ, въ Капитоліѣ, въ св. Петрѣ, въ баняхъ Каракаллы,—ездѣ вы найдете спующихъ людей, которые заглядываютъ въ книжки и осматриваютъ. Нѣкоторые поступаютъ еще удобнѣе: они ходятъ съ живымъ гидомъ, который все имъ показываетъ.

Вы видите, какой я неопытный: я вамъ раска-



зываю то, что всѣмъ извѣстно, что вы давно знали. Но сообразите, во что же обратилось теперь путешествіе. Въ точномъ смыслѣ слова, вы не ѣдете, а васъ везутъ, и вы не ходите осматривать, а васъ водятъ. Этотъ усовершенствованный, облегченный и упрощенный способъ не разъ наводилъ на меня тоску. Вы садитесь въ Петербургъ въ вагонъ, и черезъ четыре дня вы въ Венеціи—безъ всякихъ приключеній, ничего не выдавши, кромѣ станцій и дебаркадеровъ, ни съ кѣмъ не познакомившись, кромѣ служащихъ при желѣзныхъ дорогахъ. Затѣмъ, въ нѣсколько дней вы осматриваете всѣ достопримѣчательности города—по двѣ минуты на каждую—и можете уѣхать, и уѣзжаете, не взглянувши въ лицо ни одному жителю города, не узнавши ни одной черты его жизни, а узнавши только порядки вашего отеля, да претензіи и замашки его содержателя и прислуги. Я видѣлъ, какъ иные люди входили въ тѣ зданія, что—войдешь, и остановишься въ изумленіи, и чувствуется, какъ будто эти своды, колонны, карнизы что-то поютъ, звучать какимъ-то торжественнымъ и непрерывнымъ гимномъ; я видѣлъ, что иной войдетъ и прямо уткнется въ книжку, отыскивая, что же ему слѣдуетъ осматривать и чему именно удивляться. Толпа, которая, безпрестанно подновляясь, бродить по этимъ музеямъ и развалинамъ, очевидно, рав-

нодушна и даже скучаетъ; она точно проходитъ урокъ изъ ариѳметики или географіи. Какая печальная участь—оставаться холоднымъ передъ дивами искусства и природы, смотрѣть во всеѣ глаза на сіяющую красоту и ничего не видѣть! Но толпа не чувствуетъ своей бѣды и спокойно проходитъ мимо всего великаго.

Такъ опошлилось это дѣло, — какъ, впрочемъ, опошливается и все на свѣтѣ. Италія сдѣлалась теперь *общедоступною*, Римъ вошелъ во *всеобщее употребленіе*, какъ иныя популярныя книги, излагающія вкратцѣ сущность наукъ. Но не думаю, чтобы истинное пониманіе научнаго духа и художественной красоты отъ этого выиграло. Теперь рѣшительно нужно принимать *особыя мѣры* для того, чтобы молодой человѣкъ могъ воспринять какую нибудь истину науки или произведеніе искусства въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, съ свѣжимъ чувствомъ и вниманіемъ, чтобы онъ не познакомился съ ними заранѣе въ искаженномъ, умаленномъ, опошленномъ видѣ. Теперь нужно избѣгать обилія книгъ и предметовъ, нужно умышленно замедлять смѣну впечатлѣній, не давать имъ скользить по душѣ. Какая жалость испортить первое впечатлѣніе, которое потомъ такъ трудно изглаживается! Берегитесь же скорости желѣзныхъ дорогъ и ясности популярныхъ книжекъ!

Въ Варшавѣ я столкнулся съ двумя молодыми людьми, здоровыми, красивыми, бойкими, которые ѣхали изъ Москвы. Они объявили мнѣ, что въ шесть недѣль думаютъ осмотрѣть всю Европу. Въ Венеціи я усѣлся на солнцѣ, на площади св. Марка, — вижу, идутъ мои путешественники. „Ну, что?“ спросилъ я, и видя, что они чуть-чуть замялись, самъ подсказалъ: „ничего хорошаго?“ — „Да“, радостно отвѣтили мнѣ, „рѣшительно ничего хорошаго: узкіе закоулки, облупившіеся дома, вездѣ грязь, вонь, — по улицамъ развѣшано бѣлье, мужчины въ самыхъ людныхъ мѣстахъ преспокойно уткнулись себѣ въ уголъ... Чтò тутъ хорошаго? Сегодня ѣдемъ въ Римъ!“

И вотъ вамъ очарованіе Венеціи, впечатлѣніе самаго фантастическаго, самаго сказочнаго города въ мірѣ! Они, очевидно, ждали чего нибудь щеголеватаго, наряднаго, лощенаго, какъ богатый магазинъ на Кузнецкомъ мосту; Венеція, конечно, больше всякаго другаго города могла бы ихъ убѣдить, что красота не въ этомъ состоитъ, но вѣдь всякій видитъ только то, чтò умѣетъ видѣть. Въ Неаполѣ я опять ихъ встрѣтилъ; они объявили мнѣ, что уже были два дня въ Римѣ, что все осмотрѣли и — *ничего хорошаго!* Я подумалъ, что желѣзныя дороги, какъ инныя популярныя книги, рѣшительно служатъ къ укрѣпленію невѣжества и къ распространенію предразсудковъ.

Италія, вообще, не имѣетъ никакого лоска, никакой щеголеватости, во-первыхъ по принципу, во-вторыхъ по бѣдности. Въ неподобныхъ palazzo, осматривая неподобныя картины и статуи, вы ходите по истертымъ кирпичнымъ поламъ, садитесь на затертыя и полинявшія кресла. Въ Римѣ дома и улицы имѣютъ самый простой, и даже грязный видъ; нигдѣ невидно желанія принарядить, выровнять и вылощить. Зато на концѣ улицы вамъ поставленъ обелискъ, который удивительно играетъ на чистомъ небѣ и даетъ улицѣ не то что красивый, а грандіозный, монументальный видъ. Я не берусь описывать вамъ этихъ впечатлѣній. Всего труднѣе говорить именно объ архитектурныхъ красотахъ, о дѣйствіи на душу, производимомъ размѣрами и формами зданій. Ну какъ рассказать каналы Венеціи, или площадь св. Марка? Я уловляю отчетливо только одну черту — чудесный цвѣтъ морской воды, наполняющей узкіе проходы между высокими домами. Если бы это была прѣсная вода, если бы она не свѣтилась аквамариномъ, не имѣла удивительной прозрачности и вмѣстѣ вполне опредѣленнаго цвѣта, эти каналы были бы отвратительны, какъ Мойка или Екатериновка. А о площади я такъ и не скажу ничего. Она играетъ, поетъ; въ ней есть что-то радостное и фантастическое, какъ будто вся она большой арабескъ. То-

есть, эти линіи выведены безъ цѣли, безъ соотвѣтствія дѣйствительности, не для выраженія чего нибудь, а такъ, ради ихъ собственной красоты.

Два дня мы ѣздили по Венеціи, осматривая дворцы и церкви. Уже на первый взглядъ она имѣетъ видъ не только стариннаго, а стараго, очень стараго города, такого, который давно стоитъ не подновляясь, безъ поправокъ и новыхъ зданій. Всѣ стѣны потускнѣли и выцвѣли, ступени истерлись, мозаичные полы покривились. Внутри церквей и залъ все разубрано и переполнено произведеніями искусства; цѣлая стѣна вдругъ занята *одною* картиною масляныхъ красокъ, а потолокъ весь состоитъ изъ группы пышныхъ золотыхъ рамъ, какъ будто скрѣпленныхъ перевязями и занятыхъ такими же картинами; нѣтъ конца гробницамъ и статуямъ. И все это старое, все это остатки минувшей жизни, которой нѣтъ продолженія, которая прервалась навсегда. Но скоро я замѣтилъ еще другое: я почувствовалъ странную *пустоту* въ этомъ старомъ городѣ. Сравнительно съ этой массой огромныхъ домовъ, на каналахъ почти нѣтъ движенія, многія дома пусты и закрыты наглухо, другіе уже разваливаются. А вездѣ, гдѣ признаки жизни, тамъ навѣрно и лохмотья, безъ всякой цемента вывѣшенныя на солнце. Вымирающій го-

родъ! Для меня это было ново и наводило тоску. Тутъ было когда-то 200 тысячъ жителей, богатыхъ, роскошныхъ; они построили эти церкви и дома. Теперь ихъ 125 тысячъ, большею частію бѣдныхъ, а изъ нихъ 30 тысячъ даже нищихъ: немудрено, что они заняли вчетверо меньше мѣста и что Венеція похожа на вымирающій улей съ пустыми сотами. Чувство исчезнувшей жизни, чувство смерти охватило меня въ Венеціи и провожаетъ до сихъ поръ. Римъ, конечно, не вымирающій городъ; онъ даже понемножку подновляется и строится. Но впечатлѣніе еще печальнѣе; этотъ не большой и не пышный городъ выстроился на развалинахъ города баснословнаго, неслыханнаго по своей роскоши и богатству. Нынѣшній Римъ занялъ собою только уголокъ этихъ развалинъ, которыя подавляютъ его своими размѣрами; онъ сперва грабилъ эти развалины, а потомъ, опомнившись, сталъ выбирать изъ нихъ кусочки, колонны, обелиски, статуи, и ставить на своихъ улицахъ и площадяхъ, какъ лучшее ихъ украшеніе. Папы, смогшіе построить храмъ св. Петра, считаютъ потомъ своею честью одно сохраненіе остатковъ древняго Рима и хвалятся этимъ въ надписяхъ, которыя вы найдете подъ каждою колонною и у всякаго не до конца разрушеннаго остатка. Въ одинъ день я видѣлъ базилику Константина, колизей и бани

Каракаалы. Съ тѣхъ поръ нынѣшній Римъ мнѣ кажется мелкимъ, не смотря на свою несомнѣнную грандіозность. То, что я узналъ о нынѣшней жизни Рима, о его населеніи и занятіяхъ, не только не ослабило этого чувства, а только усилило.

Но объ этомъ когда-нибудь послѣ. Римъ, какъ вы знаете, безконечно занимателенъ. Погода стоитъ чудесная, даже жаркая. Я цѣлый день брожу; завтракаю въ *Cafè гресо*, какъ Тэнъ, и хотѣлъ бы обѣдать у *Лергè*, какъ онъ же. Но представьте же мое несчастье--мѣсяцъ тому назадъ *Лергè* закрылся: говорятъ обанкрутился. Такъ я и не нашелъ вашего *Luigi*.

До слѣдующаго письма!

## II.

Римъ, 18 (6) мая 1875 г.

Знаете ли, мнѣ трудно вырваться изъ Рима, и я откладываю свой отъѣздъ день за днемъ. Очарованіе, о которомъ столько писано и которое въ первые дни, подъ дождемъ и въ хлопотахъ, я только смутно чувствовалъ, наконецъ, возымѣло полное дѣйствіе. Отели ужъ больше не бросаются мнѣ въ глаза, по немногу все заняло свое надлежащее мѣсто, и Римъ сталъ для меня собраніемъ несравненныхъ развалинъ, удивительныхъ

церквей и палаццо, галлерей, наполненных статуями и картинами, и наконецъ кругомъ—виллъ съ чудесною зеленью, съ итальянскими видами, которыхъ прелести я не поминалъ, когда видѣлъ ихъ на картинахъ. Все это — подъ безоблачнымъ небомъ и подъ яркимъ солнцемъ, дающимъ всему такія яркія краски, что я все люблюсь, люблюсь каждый разъ, когда выхожу на улицу. Я разглядѣлъ, наконецъ, и народъ, — въ немъ два существенныхъ отдѣла: одинъ—масса бѣдняковъ лѣниво и кое-какъ ведущихъ свои промыслы; другой—небольшой кружокъ аристократовъ, владѣльцевъ виллъ и палаццо. Что они дѣлаютъ, не знаю, но гуляютъ они усердно; вездѣ, гдѣ хорошо гулять, вы ихъ найдете разряженныхъ, въ вереницѣ блестящихъ экипажей.

Говоря совершенно хладнокровно,—Римъ, конечно, самый занимательный городъ въ мірѣ. Если вы хотите, не то что понять, а *видѣть*, что такое исторія, какой судьбѣ подлежитъ развитіе человѣчества, что такое искусство и какой судьбѣ подлежитъ его исторія, — то ступайте въ Римъ; этотъ городъ какъ будто раскрытая книга, въ которой все это написано. Исторія, какъ извѣстно, раздѣляется на древнюю, среднюю и новую; здѣсь всѣ три на лицо; ни одна не успѣла закрыть собою предъидущую, и вы



можете сравнивать ихъ наглядно. Самый этотъ фактъ поразителенъ въ высшей степени; вы видите ясно, что эти три исторіи не сливаются, не вырастаютъ одна изъ другой, не составляютъ взаимнаго продолженія. Три раза Италія достигала въ мірѣ значенія, доходящаго до крайнихъ предѣловъ величія: эта страна породила Римскую Имперію, потомъ она же породила католичество, и наконецъ, она же есть мать возрожденія наукъ и искусствъ, того новаго духа умственной жизни, который обновилъ міръ.

И чтò же изъ всего этого вышло? Чего достигла эта страна, заправлявшая исторіею міра? Придите и посмотрите. Я не хочу пускаться въ историческія соображенія, философствовать о судьбѣ народовъ; мнѣ хочется только передать вамъ то чувство, которое возбуждаетъ во мнѣ Римъ, то жадное любопытство, съ которымъ я на него смотрѣлъ. Кто давно живетъ въ Римѣ, тѣ обыкновенно имъ не занимаются, — не исключая и художниковъ. Здѣсь живутъ тысячи художниковъ всѣхъ странъ; но мнѣ говорили, и я вѣрю, что Римъ составляетъ для нихъ только удобное мѣсто для производства работъ, для полученія заказовъ и продажи своихъ произведеній, но вовсе не школу великихъ образцовъ, не пищу для художественнаго чувства. Школою и пищею Римъ

былъ во время псевдоклассицизма; теперь-же искусство... Тутъ не смѣю продолжать; какъ я ни старался, я не могъ уловить ничего опредѣленнаго въ томъ, что мнѣ говорили о современномъ направленіи искусства. Не смѣю говорить объ этомъ; только мнѣ все кажется, что никогда еще духовная дѣятельность людей не достигала такой разрозненности, отрывочности, какъ въ наше время, время телеграфовъ, желѣзныхъ дорогъ и неумолкающей работы типографскихъ станковъ. Въ сущности, именно теперь господствуетъ наука для науки, искусство для искусства, — то самое, что, повидимому, такъ преслѣдуется и изгоняется. Нынѣшняя книга, картина, статуя — есть нѣчто, существующее совершенно отдѣльно, ни къ чему не примыкающее, ни съ чѣмъ не связанное. Нѣтъ такой сферы идей, такого опредѣленнаго склада жизни, которымъ бы служилъ, которые бы могъ развивать ученый и художникъ; по неволѣ каждый дѣлаетъ такъ, чтобы его произведеніе въ себѣ самомъ заключало весь свой смыслъ. Живописецъ не назначаетъ своей картины для извѣстной стѣны; музыкантъ пишетъ музыку не для храма и не для бальной залы, а для какого угодно мѣста, для нѣкоторой *залы вообще*, т. е. концертной; ученый пишетъ книгу, не думая о своихъ читате-

лихъ, а заботясь только объ истинѣ, которую, по его мнѣнію, онъ добывать можетъ и одинъ. Такимъ образомъ, всѣ идутъ врозь, каждый сосредоточивается на своемъ особомъ дѣлѣ, не примыкая ни къ какому общему дѣлу. Ученый живетъ для своей науки, художникъ — для своего искусства; отсюда энергическія усилія и пробы; но отсюда же какая-то тоска, какая-то потеряность, которую чувствуютъ глядящіе повыше.

Я, впрочемъ, увлекся: я хотѣлъ только сказать что къ Риму можно привыкнуть, какъ и ко всему на свѣтѣ, и тогда прійдется только бранить его грязь, неудобство квартиръ и т. д. Сравнительно, хоть бы съ нашимъ пышнымъ Петербургомъ, все здѣсь жалко и мизерно. Но отъ подобныхъ сопоставленій меня избавляетъ то чувство *благоговѣнія къ Западу*, которое иногда шевелится во мнѣ съ необыкновенною силою. Я только второй разъ за границей, и на короткій срокъ, какъ и въ первый. И теперь, какъ и тогда, каждый разъ, когда вступаю на священную почву какой нибудь изъ великихъ странъ, въ Эйдкуненъ, въ Марсели, въ Венеціи, я чувствовалъ себя варваромъ, пришедшимъ поклоняться святынямъ, которыя съ дѣтства обожалъ. Это иногда — досадное чувство, говорю прямо; невольно чувствуешь не одну радость, но и страхъ, чувствуешь тотъ подавляющій автори-

теть этихъ странъ, въ силу котораго они господствуютъ надъ нами, держать насъ въ умственномъ плѣну. И готовъ возмутиться, дерзко поднять глаза и развязно потребовать доказательствъ на права этой власти, обратиться изъ школьника въ судью. Но это дурное движеніе, вспышка возмущенія и злорадства, скоро проходитъ. Неужели намъ, русскимъ, нельзя смотрѣть на эти чудеса совершенно спокойно, отдавая имъ отъ чистаго сердца всю честь, которой они заслуживаютъ, любясь и восторгаясь ими безъ всякой посторонней мысли, съ чувствомъ одного благоговѣнія передъ всѣмъ великимъ? Зависть есть черта малодушія, и кажется можно такъ льфрить въ Россію, чтобы ни предъ чѣмъ не малодушествовать. То нетерпѣніе, то недовольство и раздраженіе, которое такъ часто у насъ господствуетъ, есть явленіе поверхностное, не имѣющее глубокаго смысла. Когда здѣсь, въ Римѣ, вспомнишь о Россіи, кажется, какъ будто она вовсе не имѣетъ исторіи; все ея прошедшее представляется однообразною полосою простаго роста. Великія бѣдствія, которыя она вынесла, созданіе крѣпкаго государства, все это не исторія, все это только явленія *самосохраненія*; а исторіи какъ будто еще не было. Но что же тутъ печальнаго? Вотъ передо мною римляне, у которыхъ была не одна, а даже три исторіи; кто

же изъ насъ пожелалъ бы съ ними помѣняться? Иные горько жалуются, что цивилизація у насъ не принимается. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ скоро два столѣтія, какъ она привита къ намъ, а до сихъ поръ ея дѣло идетъ плохо, и недавно сдѣлана новая рѣшительная попытка поправить это дѣло—заведены классическія гимназіи. Эти неудачи имѣютъ, по моему, смыслъ нисколько не печальный. Мы усвояемъ изъ цивилизаціи все внѣшнее, все то, что не касается самаго духа, самой глубины развитія, а только даетъ ему просторъ или охраняетъ. Говорятъ, наша артиллерія очень не дурна; желѣзныя дороги тоже порядочныя и ихъ уже много; юридическія формы нашего быта въ настоящую минуту довольно широки и свободны, несмотря на нѣкоторую путаницу; Петербургъ и Москва у насъ и красивѣе, и во многомъ щеголеватѣе, барствениѣ Берлина и Вѣны. Но духъ,—да, мы не усвоили духа. Петербургъ, правда, кричитъ и проповѣдуетъ, но вѣчно ему приходится, и придется до конца, жаловаться на неуспѣхъ своей проповѣди. На безбрежныхъ равнинахъ, гдѣ все глушь и тишина, растетъ, плодится и множится безчисленный народъ, который не знаетъ Петербурга и едва умѣетъ назвать по имени своего Царя. Вотъ мчится поѣздъ желѣзной дороги, который везетъ какихъ нибудь удивительно пере-

довыхъ адвокатовъ, педагоговъ, можетъ быть даже составителей прокламацій, и тюки съ книжками петербургскихъ журналовъ. Но отойдите двѣ версты въ сторону, и вы попадете въ полнѣйшее захолустье, въ невозмутимую тишину жизни. При мысли объ этомъ, нетерпѣливые люди начинаютъ злобствовать и ругаться. Но за что же, скажите пожалуйста? Пусть ихъ спятъ, пусть растутъ, пусть плодятся и множатся. Можетъ быть они дождутся нѣсколько лучшихъ педагоговъ и лучшихъ журналовъ, чѣмъ тѣ, которые ѣдутъ по желѣзной дорогѣ. Если же случится великая опасность, то они отстоятъ себя, какъ отстаивали столько разъ. Мы не знаемъ, для чего они такъ берегутъ себя; для насъ непонятно то таинственное будущее, изъ-за котораго они такъ мало дорожатъ своими головами; но вѣдь это ужъ наша печаль, а не ихъ.

Вчера мы смотрѣли коллизей при лунномъ свѣтѣ. Это удивительно, это неотразимо! Когда глядишь съ самой верхней площадки, то кажется; передъ тобою не разрушенный циркъ, а какой-то цѣлый разрушенный городъ. При слабомъ свѣтѣ глазъ дѣйствуетъ не такъ энергически, и потому не скрадываетъ величины предметовъ, какъ онъ это дѣлаетъ при солнцѣ. Оттого же ночью легче представить себѣ, какъ тутъ кишѣла стотысячная

толпа, праздная, радостная, разряженная. Одинъ изъ моихъ спутниковъ сказалъ, что онъ очень бы желалъ пожить этой жизнью; другой назвалъ такое желаніе безирравственнымъ. Такъ-то такъ, но вѣдь тутъ сказалась законная зависть. Современный человѣкъ такъ бѣденъ, такъ потерянъ, что завидуетъ всякой эпохѣ, богатой жизнью, представляющей огромныя массы народа, участвующія въ общемъ для нихъ дѣлѣ и въ общемъ наслажденіи. Нынѣшнимъ городамъ нельзя и думать поравняться съ древнимъ Римомъ; тогда весь городъ, всѣ его статуи, цирки, колонны, портики были истинной собственностію всѣхъ и для всѣхъ строились; а нынче для каждаго его комната дороже самой роскошной площади.

Сегодня простился съ Ватиканомъ и, проѣзжая мимо Пантеона, глубоко вздохнулъ. Не видать ужъ мнѣ этого свода! Я вамъ не рассказываю объ этихъ чудесахъ, да и какъ рассказывать? Для этого нужно бы летучее перо, которое въ недѣлю способно было бы набросать полкниги, и я иногда завидовалъ такимъ перьямъ. Правда, что все проходить, но вѣдь не все повторяется.

---





# Крымскія впечатлѣнія.

## I.

Недолго я твоихъ небесъ  
Блнстаньемъ спнимъ любовался.

Вы непременно хотите, чтобъ я рассказалъ вамъ свои крымскія впечатлѣнія. Позвольте ужъ въ такомъ случаѣ не стѣсняться и начать съ конца. Я вернулся изъ Крыма 31 октября, и знаете ли, чтó меня всего сильнѣе поразило въ Петербургѣ, чтò наводило на меня каждый день тоску, и къ чему я не привыкъ вполне и до сихъ поръ? На меня самое жуткое впечатлѣніе сдѣлала та темнота, тѣ непрерывныя потемки, въ которые я попалъ и которые — увы! — не проходятъ до сихъ поръ.

Какъ мало свѣта! Какое скудное, тощее, тусклое освѣщеніе всѣхъ предметовъ! Это не день, а сумерки—дня въ Петербургѣ теперь не бываетъ и долго еще не будетъ. Но объ этомъ никто здѣсь и не догадывается, и люди живутъ и двигаются,

не замѣчая, что они лишены величайшаго наслажденія—дневнаго свѣта.

Вотъ я въ полдень выхожу изъ дому и иду мимо Царицына луга. Какой-то шумъ и крики—это кавалерійскій смотръ. Какіе удивительные кони! И сколько ихъ! Какъ выхолены, какъ лоснится шерсть на нихъ! А что за молодцы на нихъ сидятъ, на подборъ, одинъ лучше другаго! Мѣдные нагрудники чисты какъ стекло, вся эта масса людей-плошадей доведена до невѣроятнаго однообразія, такъ чисто отдѣлана и отшлифована, смыкается въ такія правильныя массы, движется такъ стройно!

И что же? Все это великолѣпіе подернуто туманомъ; я не могу хорошенько разглядѣть дальнихъ рядовъ. Блестящій золотомъ генераль виденъ мнѣ какъ тусклая фигура, и голоса команды глухо обрываются въ сыромъ воздухѣ. Съ тоской отворачиваюсь и иду дальше.

Кажется, солнце? Какъ я обрадовался! Да, да, вонъ видны ярко освѣщенные края высокихъ облаковъ; нижнія облака проносятся, видна часть неба, а вотъ часть Михайловскаго замка освѣтилась лучами солнца. Боже мой, какое разочарованіе! Свѣту всетаки нѣтъ. Въ полдень здѣсь солнце свѣтитъ такъ, какъ оно тамъ свѣтитъ при самомъ заходѣ, когда край его уже опустился за горы и день скоро погаснетъ. Эти сумерки въ полдень

были невыразимо непріятны, — и я нисколько не жалѣю, что солнце опять скрылось.

Иду на Невскій. Какіе воротники, бакенбарды! Нагло и самодовольно блистаютъ глаза; съ великой гордостію несутъ на себѣ гуляющіе свои безукоризненныя шляпы и щегольскія пальто. Посмотрите на катающихся: экипажи блестятъ, какъ будто выѣхали на Невскій прямо изъ сарая каретнаго мастера; развалившіеся дамы и кавалеры разодѣты такъ, какъ будто съ нихъ тотчасъ станутъ снимать модныя картинки; кучера имѣютъ совершенно непонятную толщину и бородатость, и каждый правитъ чудесными конями съ такимъ же величіемъ, какъ будто онъ Зевесъ, управляющій міромъ; словомъ, все такъ неестественно, поднято на такія ходули, доведено до такой фантастичности лоска и красокъ, что все вмѣстѣ могло бы представить картину очень занимательную, очень пеструю и блестящую.

Но что же они дѣлаютъ, несчастные? Всѣ они думаютъ только о томъ, чтобы блистать; какъ же они не замѣчаютъ, что блистать въ этомъ сумракѣ рѣшительно невозможно? Они явились сюда, чтобы себя показать и другихъ посмотрѣть; какъ же не беретъ ихъ досада на то, что въ двадцати шагахъ уже ничего разсмотрѣть нельзя, что Невскій подобенъ въ настоящую минуту рѣкѣ сѣро-

желтаго, грязнаго тумана, по дну которой они изволятъ ходить и ѣздить, прибавляя къ этому туману паръ своего дыханія и потъ своихъ лошадей? Какая грязь на землѣ и въ воздухѣ! Какъ тускло сіяетъ весь этотъ лакъ, шолкъ, золото и шерсть! Въ пяти шагахъ вамъ нужно уже догадываться, что передъ вами нѣчто блистательное.

О, тутъ я понялъ, что собственно нравится этимъ господамъ и госпожамъ, какія извращенныя чувства наполняютъ сердца ихъ заботами и волненіями. Они не о блескѣ хлопочутъ, т. е. не о настоящемъ блескѣ—не о томъ, который созданъ Богомъ и источникъ котораго есть солнце; они жаждутъ искусственнаго сіянія — того блеска, который создается людьми и находится въ ихъ распоряженіи. Требуется не удовлетвореніе для глазъ, для настоящихъ глазъ, дающихъ намъ радость свѣта и зрѣнія, а нужно поражать и насыщать внутреннее око ихъ душъ, т. е. тщеславіе, которымъ они все измѣряютъ и на основаніи котораго они судятъ о величинѣ и красотѣ предметовъ. Петербургъ, вообще, есть городъ субъективный, фантастическій, гдѣ настоящая жизнь, настоящая природа не имѣетъ никакого значенія,—гдѣ люди все создаютъ изъ себя, живутъ своими внутренними ощущеніями и мыслями, и не хотятъ знать дѣйствительности.

Не мудрено: свѣту мало!

Ночь въ Петербургѣ лучше. По крайней мѣрѣ не видишь, что темно, — т. е. я хотѣлъ сказать, ночью уже не смотришь и ничего не ищешь глазами, поэтому не замѣчаешь отсутствія звѣзд, луны, того очарованія, которое имѣетъ въ южной ночи всякій лучъ свѣта, какъ бы онъ слабъ ни былъ. По крайней мѣрѣ темнота въ Петербургѣ настоящая, т. е. черная. Но вотъ пріѣхала Царица — и зажгли иллюминацію. Да, это не дурно! Въ первый разъ тоскующіе глаза мои испытали нѣкоторое наслажденіе, доставляемое свѣтомъ. Горящій газъ даетъ очень красивый свѣтъ; особенно хороши его полосы по ливіямъ оконъ и арокъ. Идя мимо Штанге и Кумберга, уставившихъ свои громадныя окна сплошь зажженными лампами, я живо почувствовалъ, что значитъ для петербуржцевъ яркое и красивое вечернее освѣщеніе. Петербургъ живетъ собственно зпмою и ночью. Тутъ-то онъ развертываетъ свой настоящій блескъ, тутъ получаетъ настоящее свое значеніе все то, что не имѣетъ смысла при дневномъ свѣтѣ и что въ немъ не нуждается. Комнаты сухи, теплы, богато убраны и ярко освѣщены; вотъ настоящій часъ и мѣсто жизни петербуржцевъ. Что имъ за дѣло до солнца и природы? Весь міръ для нихъ не существуетъ — и всѣ эти степи, рѣки, моря совершенно есте-

ственно кажутся имъ излишнимъ украшеніемъ міра, безъ котораго они могутъ прожить самымъ благополучнымъ образомъ. Тутъ развиваются инныя страсти и наполняютъ душу другія желанія...

Не бойтесь однако же! Я не буду увлекаться этими широкими темами, и оставляю про себя дальнѣйшія правоученія и соображенія, которыя приходятъ мнѣ теперь на мысль. Вамъ я хотѣлъ сказать только одно: главнѣйшая прелесть южныхъ странъ заключается, по моему мнѣнію, именно въ обиліи свѣта и въ чистотѣ воздуха, въ силу которой тамъ можно видѣть ясно и далеко. Изъ поѣздки въ Крымъ я вынесъ то-же впечатлѣніе и въ сильнѣйшей степени.

Что такое прекрасный видъ? Форма и цвѣтъ—суть два существенныя качества видимыхъ вещей. О формѣ и порядкѣ вещей я не стану говорить; это предметъ сложный. Но что касается до цвѣта, то можно вообще сказать, что цвѣтъ какихъ-бы то ни было предметовъ всегда бываетъ прекрасный, когда мы видимъ ихъ издали. Давно замѣчено, что нашъ подлунный міръ раскрашенъ очень недурно: напримѣръ, небо голубое, трава и листья зеленые. Я хочу прибавить къ этому, что, по свойству воздуха, всѣ предметы, видимые на очень далекомъ разстояніи, получаютъ цвѣтъ необыкновенно пріятный для глазъ. Какого-бы цвѣта ни

была гора (хотя-бы *табачнаго*, который Карлейлемъ считается хуже всѣхъ другихъ), цвѣтъ этотъ становится тѣмъ мягче, тѣмъ больше ласкаетъ глаза, чѣмъ дальше мы отойдемъ отъ горы. При очень ясномъ освѣщеніи и при чистомъ воздухѣ большія горы можно видѣть очень издалека, и тогда онѣ являются въ окраскѣ невыразимо очаровательной. Цвѣтъ ихъ въ одно время и нѣженъ и совершенно ясенъ, такъ что, наконецъ, они кажутся вамъ громадами подкрашеннаго стекла, или кованнаго серебра. И въ этомъ, по моему, заключается одна изъ главныхъ предестей большихъ горъ.

Что касается до луны и звѣздъ, то всѣ согласны, что они свѣтятъ очень красиво (и все, конечно, благодаря ихъ большому разстоянію); въ южныхъ странахъ свѣтъ этотъ имѣетъ большую силу и большую ясность. Луна тамъ дѣйствительно *золотая* и звѣзды тоже *золотыя* — выраженія очень неправильно употребляемыя иногда относительно петербургской луны и петербургскихъ звѣздъ. Здѣсь въ Петербургѣ луна и звѣзды (когда онѣ вполне видны, то есть зимой, въ очень рѣдкія ясныя ночи) имѣютъ бѣловатый, лазурный, ледяной оттѣнокъ; звѣзды здѣсь не свѣтятъ золотомъ, а мерцаютъ льдомъ и всего скорѣе похожи на сверкающія снѣжинки, которыхъ никто не называетъ золотыми

И вотъ, я прожилъ мѣсяцъ въ этой чудесной сторонѣ, гдѣ каждый взглядъ обнимаетъ далекіе предметы, гдѣ стоятъ горы, гдѣ движется море, гдѣ днемъ все залито яркимъ солнцемъ, а ночью по небу ходитъ золотая луна и золотыя звѣзды, гдѣ все такъ чисто, такъ ясно и отчетливо рисуется въ глазахъ, гдѣ видѣть и дышать—наслажденіе. Подъ конецъ я началъ привыкать ко всей этой прелести и, бродя по крутымъ тропинкамъ, начиналъ укорять себя въ разсѣянности; какъ это я забылъ, думалъ я, взглянуть на горы или на море въ этомъ уголку, куда я зашелъ въ первый разъ?

Я только что начиналъ привыкать, какъ пришлось уѣхать. Ъхалъ я десять дней, но дорогой, среди хлопотъ и думъ, я не испыталъ живаго чувства переменъ. Когда же я пріѣхалъ сюда, когда все улеглось, и потекли равномерно сумрачные дни и тусклыя ночи, безъ ясныхъ зорь, безъ яркаго солнца, безъ всякаго простора, по которому можно было-бы простираť взглядъ, безъ всякой краски, могущей потѣшить глазъ,—тогда мнѣ стало очень жутко.

## II.

Знаете-ли вы, что такое „южный берегъ Крыма“? Если вы воображаете только, что это *берегъ*, т. е. граница, на которой открывается море со всею



его чудесною жизнью, и что этотъ берегъ находится *на югѣ*, на самомъ южномъ, слѣдовательно на самомъ свѣтломъ и тепломъ краю Крыма,—то вы все-таки не имѣете никакого понятія объ этомъ удивительномъ мѣстѣ. „Южный берегъ“ — мѣсто совершенно особенное; его очарованія зависятъ отъ совершенно исключительныхъ условій, въ которыхъ тамъ дѣйствуютъ свѣтъ, воздухъ и вода.

Все дѣло въ расположеніи горныхъ массъ. Представьте себѣ, что на берегу, который идетъ отъ востока къ западу, на самой линіи берега, граничащей съ моремъ, стоятъ непрерывнымъ хребтомъ горы вышиною въ три, въ четыре тысячи футовъ къ сѣверу, т. е. къ сушѣ, эти горы имѣютъ склонъ очень покатый, даютъ постепенно понижающіеся отроги. Но къ югу, т. е. къ морю, хребетъ обрывается почти вертикально, образуетъ не склонъ, а стѣну изъ сплошныхъ скалъ, до того близкихъ къ отвѣсному положенію, что на нихъ не можетъ удержаться ни горсти земли, не можетъ застрять и прорости никакое сѣмя, и потому нѣтъ никакой растительности. Голыя отвѣсныя скалы въ нѣсколько тысячъ футовъ! Если бы вы знали какъ это красиво! Какая легкость, какой полетъ къ верху въ этихъ каменныхъ массахъ!

Если бы эта стѣна скалъ была открыта до самаго подножія и опускалась бы своимъ подножіемъ

въ море, то и видѣть ее можно было-бы развѣ только съ корабля; тогда на Южный Берегъ было бы невозможно выйти--и собственно не было бы того, чтó мы называетъ теперь „Южнымъ Берегомъ“. Вѣроятно, такъ и было когда-то, или по крайней мѣрѣ дѣло когда-то было ближе къ такому положенію, чѣмъ теперь.

Но представьте себѣ, что стѣна скалъ понемногу осыпалась и кое-гдѣ разрушилась. Острые края по мѣстамъ оборвались, откололись громадныя вертикальныя пласты, съ грохотомъ упали къ подножію и разбились на части; вода, просачиваясь и размывая, раздробила ихъ еще больше и обратила наконецъ въ песокъ и глину. Такимъ образомъ, подножіе стѣны было закрыто ея обломками, образовалась насыпь, которая отдѣлила собою стѣну отъ моря. Насыпь эта представляетъ узкую полосу земли, круто спускающуюся къ морю, и на верху, у стѣны, усѣянную крупными оборвавшимися камнями, а чѣмъ ближе къ морю, тѣмъ болѣе мягкую, и наконецъ состоящую изъ совершенно мелкихъ частицъ. На этой узкой полосѣ уже могли укрѣпиться растенія; она роскошно покрыта травами и деревьями, и она-то и есть „Южный Берегъ Крыма“.

Теперь сообразите, въ какихъ благопріятныхъ условіяхъ находится эта полоса относительно свѣта

и тепла. Съ сѣвера она отрѣзана и защищена своею громадною стѣною. Слѣдовательно, ея температура зависитъ только отъ тѣхъ вліяній, которыя идутъ съ юга. А съ юга у ней солнце и море. Если свѣтлый день, то для Южнаго Берега не пропадаетъ ни одного луча солнца, которое весь свой путь проходитъ надъ открытымъ моремъ, — и все тепло, приносимое этими лучами, сохраняется подъ защитою каменной ограды. Но еще важнѣе то, что воздухъ этой узкой полоски въ своей влажности и своемъ теплѣ вполнѣ зависитъ отъ моря, отъ этой громадной массы воды, которая зимою грѣетъ, а лѣтомъ холодитъ. Воздухъ тутъ болѣе морской, чѣмъ на всякомъ другомъ морскомъ берегу. Такъ какъ море вообще сохраняетъ на значительныхъ разстояніяхъ одинаковую температуру, то безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что это тотъ же воздухъ, какъ въ Константинополѣ, или въ Малой Азіи,—и даже еще лучшій, потому что холодные потоки воздуха, все-таки достигающіе сѣверныхъ береговъ Малой Азіи, не всегда попадаютъ на нашъ „Южный Берегъ“; переносясь черезъ стѣну его скалъ, они должны пролетать *надъ* нимъ.

Вотъ какой это удивительный уголокъ; вотъ отчего зависитъ прелесть его климата и растительности. Между „Южнымъ Берегомъ“ и осталь-

нымъ Крымомъ разнида громадная,—можно даже точно опредѣлить: такая же какъ между Петербургомъ и Крымомъ. Если не ошибаюсь, цифры говорятъ слѣдующее: въ Петербургѣ средняя температура года  $3\frac{1}{2}^{\circ}$  по Реомюру; въ Симферополѣ, т. е. въ самомъ Крыму, въ двухъ-трехъ десяткахъ верстъ отъ Южнаго Берега  $7^{\circ}$ ; на Южномъ Берегу  $10\frac{1}{2}^{\circ}$ . Слѣдовательно, если мы переѣдемъ изъ Петербурга въ Симферополь, перемѣна въ климатѣ будетъ точно такая же, какъ если переѣдемъ изъ Симферополя на Южный Берегъ.

И такъ, Южный Берегъ—это уголокъ другаго міра, полоска жаркаго климата, занесенная въ климатъ умѣренный,—оазисъ тепла и пышной растительности, окруженный природою гораздо менѣе роскошною, сравнительно — даже суровою. Была минута, когда я это не только понялъ и почувствовалъ, а увидѣлъ такъ же ясно, какъ на такой географической картѣ, на которой климаты были бы обозначены разными красками. 21-го октября, я простился наконецъ съ моими чудесными хозяевами. Когда я поднялся до Байдарскихъ воротъ т. е. до того пролома въ стѣнѣ, черезъ который сообщается Южный Берегъ съ остальнымъ Крымомъ,—я велѣлъ ямщику остановиться и сошелъ съ телѣжки. Тутъ, со стѣны, на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ открывались двѣ картины. Съ

одной стороны былъ Южный Берегъ, еще весь зеленый, покрытый деревьями, на которыхъ едва начали желтѣть листья. Я зналъ, что тамъ еще цвѣтутъ розы, и только что распустились многіе осенніе цвѣты. Съ другой стороны была Байдарская долина, одно изъ прекраснѣйшихъ мѣстъ Крыма, еще недавно походившая на огромный садъ, разбитый въ живописной гористой мѣстности. Теперь эта долина открывалась мнѣ голая и печальная. Деревья стояли безъ листьевъ, и дулъ холодный сѣверный вѣтеръ. Пока я ѣхалъ отъ Байдаръ до Балаклавы, наступила ночь, и я увидѣлъ „Большую Медвѣдницу“, созвѣздіе, котораго за стѣною горъ не видалъ все время, проведенное мною на Южномъ Берегу. Даже и въ этомъ отношеніи можно было сказать, что надо мною уже были *другія небеса*.

Вслѣдствіе того устройства, которое я описалъ, Южный Берегъ имѣетъ какой-то особенный, свѣтлый, праздничный характеръ. Тамъ все обращено къ югу, все смотритъ на югъ, все стремится къ югу. Деревья, какъ извѣстно, вездѣ даютъ на югъ больше листьевъ и вѣтвей; но на Южномъ Берегу нѣчто подобное происходитъ и съ домами и съ людьми. Всѣ фасады домовъ обращены на югъ. Небольшіе домики и хижины татаръ обыкновенно строятся даже такъ, что сзади, т. е. на сѣверъ

у нихъ нѣтъ оконъ. Такъ какъ вся мѣстность представляетъ крутой скатъ къ морю, то задняя стѣна домовъ часто до верху врѣзывается въ землю, а если и подымается надъ землею, то въ ней все-таки не дѣлается оконъ; эти окна не давали бы ни свѣта, ни вида.

Какъ дома и деревья, такъ и люди здѣсь постоянно обращены лицомъ на югъ. На югѣ—далеко открывающійся видъ, просторъ, всегда притягивающій къ себѣ человѣческіе глаза; на югѣ—вѣчно ходятъ корабли, вѣчная дѣятельность человека, невольно приковывающая вниманіе жителя пустыни; на югѣ—море, съ его бурунами и прозрачными волнами, въ которыхъ можно купаться; на югѣ—виноградники и смоковницы и цвѣты; чѣмъ ближе къ югу, тѣмъ меньше камней, тѣмъ мягче почва, тѣмъ укромнѣе, теплѣе, живописнѣе уголки, тѣмъ успѣшнѣе растутъ всякія благодатныя травы и деревья. И вотъ почему всѣ лица обращены на югъ.

А какой воздухъ! Въ немъ нѣтъ избытка ни влажности, ни сухости, и не слышать смѣшенія токовъ разнаго свойства. Октябрь стоялъ чудесный. Днемъ термометръ показывалъ 15—16 градусовъ. Въ сумерки, пока еще можно было видѣть, я подходилъ къ термометру, повѣшенному на сучокъ кипариса, и находилъ 13 градусовъ. И вотъ что

меня восхищало безъ мѣры: въ какой бы часъ ночи я потомъ ни подходилъ къ термометру, при огнѣ спички я всегда находилъ все тѣже 13 градусовъ. Такъ продолжалось весь мѣсяцъ, почти безъ исключенія! Эти теплыя темныя ночи представляли прелесть невообразимую. Ни тѣни сырости, ни единой холодной струйки въ воздухѣ! Броди по саду, сколько хочешь; трава также суха, какъ днемъ; садись, гдѣ вздумается, прямо на землю. Всѣ лощинки проникнуты тепломъ, всюду такой же чистый, прозрачный, ласкающій воздухъ. Я не могъ вспомнить безъ отвращенія о сырыхъ петербургскихъ ночахъ, сырыхъ даже въ самые ясные и длинныя іюльскіе дни, о петербургскихъ зефирахъ, всегда подбитыхъ холодкомъ. На Южномъ Берегу мнѣ было раздолье. Много часовъ и въ лунныя и въ безлунныя ночи я пробродилъ по огромному, старинному, заросшему саду Мшатки. Тишина, пустыня. Садъ спускается къ самому морю, которое одно шумить, не умолкая ни днемъ, ни ночью. Безмолвно стоятъ громады горъ. Изрѣдка звонко раздастся стрекотанье кузнечиковъ или залепечуть листья.

Часу въ десятомъ (мы ложились обыкновенно въ десять часовъ) я взбирался, наконецъ, къ освѣщенному домику, гдѣ въ комнатѣ съ настежъ отворенными окнами ждали меня ужинать. Однажды

когда я пытался выразить все удовольствіе, которое испытываю, мой милый хозяинъ замѣтилъ:

„Какъ вы *подробно* восхищаетесь“!

Это мнѣ очень понравилось; я дѣйствительно подробно восхищался Южнымъ Берегомъ — и пахожу, что онъ вполнѣ достоинъ такого восхищенія.

20 ноября 1869 г.

(Продолженія не было).

---



# Ночь на Днѣпрѣ.

Картина Куинджи.

Позвольте сказать нѣсколько словъ о картинѣ Куинджи. Моя замѣтка очень опоздала; но тѣ, кто видѣлъ *Ночь на Днѣпрѣ*, конечно не могли ее забыть, а для тѣхъ, кто не видалъ, можетъ быть интересны будутъ нѣкоторые общія разсужденія объ искусствѣ. По моему мнѣнію, объ искусствѣ слишкомъ мало разсуждаютъ, слишкомъ мало пишутъ серьезно. Искусство занимаетъ въ нашей такъ называемой *образованной* жизни огромное мѣсто; оно есть постоянная, незамѣнимая принадлежность этой жизни, поглощающая значительную долю ея времени. Но, къ сожалѣнію, эта значительная роль принадлежитъ искусству не въ силу его настоящего, серьезнаго содержанія, а почти исключительно потому, что искусство не только есть *дѣло*, а вмѣстѣ и *забава* и *роскошь*. Публика ищетъ въ немъ провозженія времени, или пищи для своего тщеславія. Съ тѣхъ поръ, какъ упало обществен-

ное искусство, искусство для храма и города, художественныя произведенія должны искать себѣ опоры во вкусахъ частныхъ лицъ. Они стали частнымъ дѣломъ, свободнымъ отъ всякихъ опредѣленныхъ цѣлей и указаній. Искусство, поэтому, разлилось и расширилось въ массѣ, въ толпѣ, удовлетворяя ея требованіямъ, и получило, повидимому, и большій объемъ, и большее значеніе въ жизни, чѣмъ прежде. Но въ этомъ нельзя еще видѣть существеннаго успѣха для самаго искусства. Для него открылась такимъ образомъ возможность и опасность всякаго рода паденій и искаженій, покровительствуемыхъ вкусами публики. Музыка нынѣ процвѣтаетъ потому, что она есть принадлежность всякаго увеселенія, даже самаго гадкаго. А если мы подумаемъ, что въ каждомъ домѣ есть фортепіано и въ каждой семьѣ учатся музыкѣ, а между тѣмъ настоящее пониманіе и исполненіе музыки есть величайшая рѣдкость, то увидимъ, какъ много значитъ въ этомъ дѣлѣ мода, тщеславіе и обезьянство. Точно такъ, живописцы множатся и процвѣтаютъ главнымъ образомъ потому, что множатся и накапливаются богатства, а главной роскошью богатаго дома считаются картины. Изъ тщеславія, всѣ кто побогаче заводятъ себѣ эту роскошь, истинная же любовь къ живописи есть очень рѣдкое качество.

Конечно, и во всѣхъ этихъ случаяхъ, и даже

во всѣхъ своихъ искаженіяхъ и паденіяхъ, искусство все еще сохраняетъ нѣкоторое благотворное дѣйствіе, зависящее отъ того высокаго принципа, который лежитъ въ его основаніи. Но дѣло шло бы гораздо лучше, если бы при этомъ масса публики обладала и какимъ нибудь сознательнымъ понятіемъ о сущности своихъ ежедневныхъ удовольствій и развлеченій, если бы она имѣла возможность вносить въ нихъ серіозную мысль. Картина Кунджи, имѣвшая такой успѣхъ и представляющая такое яркое и вмѣстѣ простое явленіе, невольно наводитъ, какъ намъ думается, на замѣчанія, касающіяся именно самыхъ первыхъ началъ искусства и наслажденія искусствомъ, и вотъ почему мы позволимъ себѣ высказать нѣкоторыя мысли объ этой картинѣ.

*Ночь на Днѣпрѣ*—высоко замѣчательное явленіе. Въ области ландшафта это самый крайній, самый пышный цвѣтокъ нашей реалистической школы, точно такъ, какъ подобнымъ цвѣткомъ реализма въ другой области живописи мы готовы считать *Протодьякона* г. Рѣпина. Нашъ реализмъ, столь сродный правдивой и простой русской натурѣ, встрѣчающій у насъ всегда горячее сочувствіе, процвѣтаетъ все больше и больше, и производитъ чудеса. Картина г. Кунджи истинное чудо. Подобнаго владѣнія красками, какъ въ этой кар-

тинѣ, даже въ предъидущихъ произведеніяхъ того же художника еще не было видано. И лунный, и солнечный свѣтъ у него является съ такою яркостью и чистотою, которыя оставляютъ далеко за собою картины прежнихъ мастеровъ. Онъ какъ будто пишетъ совершенно другими красками и, намъ кажется, долженъ произвести въ этомъ отношеніи рѣшительный переворотъ въ живописи. До него не знали, что лунный свѣтъ и ночное небо имѣютъ зеленоватый оттѣнокъ, и не знали должно быть другихъ подобныхъ тайнъ, отгадка которыхъ дала ему эту удивительную яркость и естественность освѣщенія. Такъ въ *Ночи на Днѣпрѣ* небо на протяженіи между луною и горизонтомъ представляетъ оттѣнки, схваченные съ изумительною вѣрностію; не вѣришь глазамъ, что можно было написать такую неувловимую вещь. Невыразимо хорошъ также мракъ, обступающій съ боковъ свѣтлую грунцу луны, облаковъ и освѣщенной рѣки. И много другаго истинно восхитительнаго можно найти въ этой картинѣ.

И однакоже, всѣ, кто видѣлъ картину, я думаю, чувствовали хоть маленькую тѣнь какого-то недовольства или недоумѣнія. Въ картинѣ есть что-то рѣзкое, что-то бросающееся въ глаза, неотвязно напрашивающееся на вниманіе и мѣшающее любоваться всѣми ея прелестями. Дѣло похоже на

то, какъ если бы вы любовались прекраснымъ портретомъ, но вамъ постоянно казалось бы, что волосы на немъ не нарисованы, а наклеены натуральные. Повидимому, чѣмъ естественнѣе, тѣмъ лучше; но, однако, наклеенные волосы портили бы вамъ портретъ, а слѣдовательно вамъ испортили бы его и нарисованные волосы, если бы вы не могли ихъ отличить отъ наклеенныхъ. Такъ и тутъ. Свѣтъ луны *слишкомъ натураленъ*, слишкомъ бросается въ глаза своею натуральностію и этимъ портитъ гармонію картины. Напримѣръ, передній планъ, чудесно написанный, по необходимости вышелъ гораздо темнѣе, чѣмъ слѣдуетъ при полномъ лунномъ освѣщеніи, и нужно всматриваться, чтобы видѣть, что весь онъ залитъ яркимъ луннымъ свѣтомъ. Вотъ какая бѣда случилась съ художникомъ. Стараясь поддѣлаться подъ природу своими слабыми средствами (красками и полотномъ), онъ долженъ былъ пожертвовать однимъ, чтобы вѣрнѣе было другое.

Но можно сказать еще больше. Какъ ни ярки луна, облака и освѣщенная рѣка, все таки и въ этомъ отношеніи, въ отношеніи освѣщенія, картина, разумѣется, не успѣла вполне поддѣлаться подъ дѣйствительность. Всѣ, кто видѣлъ, съ перваго же разу замѣтили другое сходство, сходство такое разительное, что многіе не хотѣли вѣрить,

что передъ ними настоящая картина, писанная масляными красками. „Это писано на стеклѣ и освѣщено сзади!“ Таково общее впечатлѣніе, и дѣйствительно, стоя передъ картиной, невозможно было ничѣмъ убѣдиться въ различіи. Обманъ совершенный!

И такъ, вотъ что сдѣлалъ художникъ. Его картина сходна до обмана не съ природою, а съ картиною, писанною на стеклѣ и освѣщенной сзади. Разница большая. Очевидно, впечатлѣніе полотна, той плоскости, на которой писана картина, онъ не только не уничтожилъ, а напротивъ принужденъ былъ нѣсколько усилить. Ему нужна была рѣзкость контуровъ и яркость красокъ, мѣшающая воздушной перспективѣ. Какая жалость! Такія удивительныя старанія, такая безпримѣрная чуткость къ свѣту и цвѣту потрачены на то, чтобы картину на полотнѣ сдѣлать какъ двѣ капли воды похожею на картину писанную на стеклѣ! Результатъ конечно безпримѣрный, истинное диво техники, но вѣдь художникъ не того хотѣлъ, — онъ хотѣлъ, чтобы мы видѣли природу, а не стекло. Стремленіе къ реализму сбило его съ пути и завело туда, куда онъ вовсе не шель. Картины на стеклѣ имѣютъ свои достоинства, но не даромъ живопись масляными красками на полотнѣ предпочитается: она всего свободнѣе, она богаче

средствами. И потому странно, что высшій родъ живописи вдругъ произвелъ подражаніе низшему. Что было бы хорошаго, еслибъ масляными красками написать картину, которая какъ двѣ капли воды походила бы на нарисованную карандашомъ?

И выводъ изъ всего одинъ: реализмъ напрасно накладываетъ на себя всякаго рода путы, стремясь то съ той, то съ другой стороны поддѣлаться подъ природу. Такая поддѣлка всегда бываетъ неудачнымъ усиліемъ, часто смѣшнымъ напряженіемъ достигнуть невозможнаго, и всегда нарушаетъ строй цѣлаго произведенія. Искусство должно быть свободнѣе. Правда внутренняя — вотъ чего долженъ добиваться реализмъ, а не гоняться исключительно за виѣшной правдой. По нашему общему расположенію къ реализму, мы очень часто грѣшимъ въ этомъ отношеніи. Признается почти за общее правило, что чѣмъ натуральнѣе тѣмъ лучше, что натуральностію (хотя бы только въ частяхъ, въ отдѣльныхъ подробностяхъ) ничего не испортишь. Отсюда и у нашихъ романистовъ мѣстами чрезвычайная, напряженная дробность описаній. Мы даже уже вполне привыкли къ ней и не замѣчаемъ, какъ теряется свобода, живость и ясность разсказа, какъ онъ становится совершенно неестественнымъ. Но то, что еще терпимо въ словесномъ искусствѣ, самомъ широкомъ и

вольномъ въ своихъ пріемахъ, то совершенно нетерпимо въ другихъ искусствахъ, связанныхъ болѣе тѣсными условіями.

Натуральность всегда выгодна, всегда беретъ свое, потому что она *ничего не требуетъ* отъ зрителя; при ней можно вовсе обойтись безъ той художественной работы, которая должна совершаться въ зрителѣ и безъ которой невозможно никакое наслажденіе искусствомъ. Толпа, ломившаяся въ залу, гдѣ стояла картина г. Куинджи, большею частію уходила изъ этой залы конечно съ однимъ физическимъ впечатлѣніемъ, съ которымъ не было соединено ничего художественнаго; за то ужъ физическое впечатлѣніе не миновало ни одного человѣка. Спрашивается, ужели такимъ результатомъ, такимъ успѣхомъ можетъ быть доволенъ художникъ? Ужели ему не хотѣлось ударить по другимъ, болѣе глубокимъ струнамъ?

А зрители, конечно, рады. Они всегда бросаются на то, гдѣ не требуется душевной работы, гдѣ довольно глазъ и ушей, чтобы получить занимательное впечатлѣніе, и, что всего грустнѣе, многіе вовсе не подозреваютъ, чтобы еще что нибудь было нужно. Въ сущности, между искусствомъ и его постоянными потребителями (позвольте такъ выразиться) существуетъ жестокое и повальное недоразумѣніе, которое на тысячу ла-



довъ разыгрывается предъ каждой картиной, на каждой выставкѣ, на каждомъ концертѣ и театральномъ представленіи. Ежедневно съ утра до вечера происходитъ тутъ чистая игра въ жмурки. Художникъ не видитъ своей публики и безпрестанно съ усердіемъ бьетъ по тому мѣсту, гдѣ совершенно пусто; зритель или слушатель не видитъ того, что развертываетъ передъ нимъ художникъ, и безпрестанно старается что нибудь поймать, хватается за что попало, но только не за то, что ему даютъ. Зрѣлище въ сущности очень комическое, а если немножко долго, то и утомительное. Понятно, отчего, замѣтивъ приближеніе конца, зритель не безъ удовольствія торопится уйти, недосмотрѣвъ и недослушавъ.

Ну что-жь! Вѣдь это лишь забава, и нѣсколько времени убито безъ особой скуки.

29 ноября 1881.

---



## Толки объ Л. Н. Толстомъ.

---

По плодамъ ихъ вы узнаете ихъ.

Толки объ Л. Н. Толстомъ продолжаются. Начались эти толки уже давно, лѣтъ десять или двѣнадцать назадъ, вскорѣ послѣ окончанія *Анны Карениной*; они быстро усилились и потомъ стали постояннымъ, непрерывнымъ явленіемъ. Мы къ нимъ даже совершенно привыкли и уже не замѣчаемъ, какъ много тутъ удивительнаго, ничуть не думаемъ, что передъ нами, можетъ быть, происходитъ событіе величайшей важности. Припомнимъ, когда же бывало что нибудь подобное? Малѣйшія извѣстія о томъ, что пишется и какъ живетъ въ Ясной Полянѣ, газеты помѣщаютъ наравнѣ съ наилучшими лакомствами, какими онѣ угощаютъ своихъ читателей, т. е. наравнѣ съ политическими новостями, съ пожарами и землетрясеніями, скандалами и самоубійствами. И мы потомъ ежедневно треплемъ своими языками имя знаменитаго писателя съ неменьшимъ усердіемъ, и обыкновенно съ такимъ же

хладнокровіемъ, какъ имена Бисмарка или Вильгельма II. Но мы знаемъ, на этой болтовнѣ дѣло не останавливается. У многихъ, особенно у молодыхъ людей, на Л. Н. Толстаго устремленно серьезное, душевное вниманіе.

И это не у насъ только дома. Извѣстность Л. Н. Толстаго стала истинно всемірною; о немъ пишутъ и за нимъ слѣдятъ во всѣхъ образованныхъ странахъ. Каждая его новая повѣсть сейчасъ переводится на разные языки, каждая театральная піеса ставится на сценѣ, переводится каждая страница даже старыхъ неконченныхъ рукописей, какъ нубудъ попавшая въ руки ревностныхъ почитателей, переводятся и чужія разсужденія, которыя онъ одобрилъ и снабдилъ своимъ предисловіемъ. И это дѣлается никакъ не по одной усилившейся фабрикаціи празднаго чтенія. Во Франціи, въ Германіи, въ Англіи, въ Америкѣ,—вездѣ писанія Л. Н. Толстаго возбуждаютъ живѣйшія интересъ, порождаютъ толки и споры. Можетъ быть, со временъ Вольтера не было писателя, который производилъ бы такое сильное дѣйствіе на своихъ современниковъ.

Тутъ есть чему подивиться и о чемъ задуматься. Правда, бываетъ слава фальшивая, бываютъ всесвѣтно громкія имена, которыя потомъ забываются; но обыкновенно человѣчество не ошибается въ своей

любви и въ своемъ удивленіи. Упорно и неотвратимо привязываются умы къ тому имени, подъ которымъ имъ почуялось истинное величіе, явился предметъ достойный истиннаго поклоненія. Вотъ почему поэтъ такъ рѣшительно сказалъ:

И намъ ужъ то чело священно,

Надъ коимъ вспыхнулъ сей языкъ.

Славное имя всегда есть любопытная задача для нашихъ мыслей. Иногда въ прославленіи обнаруживается только настроеніе читателей и зрителей, создающихъ себѣ кумиръ по своему вкусу; но обыкновенно даже сумазбродный энтузіазмъ, даже фанатическое гоненіе или превознесеніе какогонибудь человѣка имѣютъ свое основаніе въ самомъ этомъ человѣкѣ и его дѣятельности. Если мы станемъ старательно вникать въ дѣло, мы почти всегда откроемъ въ немъ важный вопросъ, глубокій поворотъ умовъ, или обнаруженіе душевныхъ силъ, далеко превосходящихъ обыкновенную мѣру.

## I.

### Единый духъ во всей дѣятельности.

Отчего такъ знаменитъ Л. Н. Толстой? На этотъ вопросъ многіе сейчасъ такъ отвѣтятъ: оттого, что онъ написалъ гениальныя художественныя произведенія, *Войну и миръ*, *Анну Каренину*. Это настоящая причина его извѣстности; безъ этого ни-

кто не обратилъ бы вниманія на тѣ плохія разсужденія, которыя онъ сталъ потомъ писать. Онъ прославился именно какъ великій художникъ, и вотъ теперь носятъ съ каждой страницей, которую онъ напишетъ, разбираютъ его наставленія принимаютъ ихъ въ руководство для жизни, хотя всѣ эти писанія ничего не стоятъ и составляютъ для него просто стыдъ, а не славу. Такъ отвѣчаютъ одни, а другіе идутъ ище дальше. Онъ великъ какъ художникъ, говорятъ они, а по тому самому мы не читаемъ его разсужденій и не хотимъ обращать на нихъ вниманіе. Художнику слѣдуетъ оставаться художникомъ, и онъ не можетъ ничего хорошаго сдѣлать, если берется не за свое дѣло.

Легко однако замѣтить, что всѣ эти рѣчи принадлежатъ людямъ, желающимъ непремѣнно осудить послѣдній періодъ дѣятельности Л. Н. Толстаго. Они хватаются за его огромную художественную славу, чтобы такъ или иначе обратить ее *противъ* него, сдѣлать изъ нея орудіе, подрывающее его авторитетъ. Они часто увѣряютъ при этомъ, что они даже необыкновенно любятъ Толстаго-художника, но за то Толстаго-мыслителя терпѣть не могутъ.

Добрые люди, повторяющіе подобныя рѣчи, конечно, сами не замѣчаютъ, что они пускаютъ въ

дѣло очень жалкую уловку, очень наивное лицемеріе. Во-первыхъ, можетъ быть, бѣольшую долю всемірной извѣстности Толстаго нужно приписать не его художественнымъ произведеніямъ, а именно тому религіозно-правственному перевороту, который въ немъ совершился и смыслъ котораго онъ стремился выразить и своими писаніями, и своею жизнью. Какъ бы мы ни судили объ этомъ переворотѣ, но, очевидно, образованный міръ былъ пораженъ зрѣлищемъ человѣка, въ которомъ съ такою силой, безъ всякихъ внѣшнихъ толчковъ, сказались вѣчные запросы души человѣческой. Нужно отдать людямъ честь: никакое литературное мастерство не могло привлечь ихъ любопытства и уваженія въ такой степени, какъ та душевная исторія, которая совершилась и совершается предъ ихъ глазами въ Ясной Полянѣ. Даже въ тѣхъ, кто такъ усердно порицаетъ Толстаго, есть, очевидно какое-то живое чувство, заставляющее ихъ съ жадностію слѣдить за всѣмъ, что онъ дѣлаетъ и думаетъ.

Что же касается до противоположенія между художникомъ и мыслителемъ, то это было бы чрезвычайно легкой и простой выходъ изъ затрудненія, почему за этотъ выходъ и хватаются упорные люди. Но, какъ я сказалъ, они въ этомъ случаѣ только лицемерятъ вольно и невольно. Не любить художественныхъ произведеній Толстаго, не можетъ

цѣнить ихъ глубокаго духа и содержанія тотъ, кто не понимаетъ, какъ тѣсно они связаны съ его новыми писаніями. Тѣ самыя начала, которыя онъ теперь проповѣдуетъ, безсознательно жили въ немъ всегда и составляли душу всего, что онъ тогда писалъ. На каждой страницѣ его рассказовъ можно видѣть, что выше всякой красоты для него всегда стояла красота душевная, что эту красоту онъ видитъ въ „простотѣ, добротѣ и правдѣ“, что истинное мужество состоитъ для него въ терпѣніи и преданности, что истинная любовь всегда для него цѣломудренна, и что самые смиренные люди ему являются прекраснѣе самыхъ великихъ героевъ. Долго очаровывалъ насъ Толстой этими картинами, и долго самъ былъ очарованъ ими. Но, наконецъ, онъ какъ будто вдругъ опомнился на верху славы и счастья и съ изумленіемъ взглянулъ на себя и на другихъ. Онъ какъ будто спросилъ себѣ: развѣ все это забава? Развѣ можно жить, не зная твердаго пути жизни? Для чего я живу и пишу, если не нашелъ этого пути и не могу указать его другимъ? И онъ съ отчаяніемъ сталъ искать этого пути, влагая въ это исканіе всю свою умственную силу. Тогда для него получила новое, неизмѣримо болѣе глубокое значеніе вся та красота души, которою онъ прежде только безпечно любовался. Изъ эстетика онъ обратился въ нравственнаго пропо-



вѣдника; но содержаніе его художественныхъ образовъ и его практическихъ наставленій осталось въ сущности одно и то же. Толстой, можно сказать, подписалъ для насъ и для себя правоученіе подъ тѣми баснями, которыя прежде рассказывалъ.

И какъ не видѣть, что сдѣлать это было и полезно, и даже совершенно необходимо? Теперь вѣдь стало ясно для всѣхъ, и для самого автора, что эти неподобныя художественныя произведенія, въ которыхъ повсюду разлито самое высокое и чистое нравственное чувство, не дѣйствовали на читателей такъ, какъ должны были дѣйствовать. Когда мнимые любители этихъ произведеній изливаются въ восторгахъ отъ ихъ красотъ и вмѣстѣ отворачиваются отъ нравственныхъ наставленій художника, они только доказываютъ или свое непониманіе, или извращеніе своего эстетическаго вкуса. И, слѣдовательно, Толстой не могъ и не долженъ былъ ограничиться однимъ художествомъ. Странно подумать, *Анну Каренину*, это глубоко цѣломудренное произведеніе, иные сумѣли такъ читать, что въ нихъ возбуждались только нечистыя чувства и мысли. Они любовались картинами роскошной жизни и пробѣгающихъ по ней вспышекъ чувственности и разврата. Понятно, что художникъ не захотѣлъ больше подооного эстетическаго поклоненія. Онъ написалъ *Крейцерову сонату*.

ту, онъ такъ безпощадно избивалъ нашу нечистую жизнь, что ошибиться въ его мысли уже было невозможно.

Любители литературы часто упрекаютъ Толстаго за то, что онъ теперь пишетъ не одни художественныя произведенія, да если и создаетъ что нибудь художественное, то не вноситъ въ дѣло полного своего искусства. Для этихъ любителей, очевидно, не имѣетъ никакого значенія внутренній переворотъ, совершившійся въ художникѣ,—такъ мало имъ дорогъ этотъ художникъ, такъ мало они цѣнятъ и понимаютъ самый глубокий нервъ его дѣятельности!

Но для понимающихъ между двумя половинами дѣятельности Толстаго нѣтъ разлада и нельзя дѣлать противоположенія; напротивъ, одна половина поддерживаетъ и поясняетъ другую. Кто вникнетъ въ его нравственныя наставленія, для того вдругъ открывается самый глубокий и драгоцѣнный смыслъ его художественныхъ произведеній, тѣ тайныя и иногда еще неясныя для самого художника побужденія, которыми оживлялось его творчество. И на оборотъ, чтобы точно понять направленіе и духъ его послѣднихъ поученій, мы можемъ и должны обращаться къ его чисто художественнымъ созданіямъ, гдѣ этотъ духъ раскрывался еще спокойно, еще безъ порыва и волненія, и потому высказывался часто съ великою тонкостью и правдой, хотя

прежде многіе видѣли въ этомъ только одну роскошь еще неслыханнаго художества. Такъ мы должны поступать, если хотимъ быть вполне справедливыми къ Толстому. Не цѣпляться за мелкіе недостатки и обмолвки, не ловить мелкія и второстепенныя противорѣчія, а брать его въ цѣломъ составѣ его дѣятельности, понять и прослѣдить тотъ единый духъ, который проникаетъ все, что онъ творилъ, думалъ и дѣлалъ. Предъ нами огромное явленіе, которому, по его размѣрамъ и значенію, трудно найти подобное во всей исторіи всемірной литературы.

## II.

### Христіанское, религіозное явленіе.

Все дѣло въ томъ, чтобы найти правильную точку зрѣнія на Толстаго, отыскать тотъ центръ, которымъ управляются его мысли и дѣйствія, изъ котораго поэтому хорошо видна ихъ связь и порядокъ.

Этотъ центръ, эта исходная точка всѣхъ его стремленій есть не что иное, какъ евангельское ученіе. Если мы хотимъ понимать Толстаго, то прежде всего должны смотрѣть на него, какъ на нѣкотораго христіанина, какъ на одного изъ послѣдователей Христова ученія.

Чрезвычайно странно, что этотъ важнѣйшій

пунктъ всего дѣла обыкновенно вовсе не приходитъ на мысль цѣнителямъ и порицателямъ, что они не видятъ здѣсь, по крайней мѣрѣ, существеннаго вопроса, который нужно разсмотрѣть самымъ тщательнымъ образомъ. Естественно, положимъ, что этотъ вопросъ не занимаетъ тѣхъ, кто на всякую религію смотритъ съ пренебреженіемъ; но ревнителей христіанства, казалось бы, должно глубоко интересоватъ религіозное настроеніе Толстаго. Не видно, однако, чтобъ они надъ этимъ задумывались; съ самымъ легкимъ сердцемъ они лишаютъ его имени христіанина, какъ будто такое лишеніе не великая обида, и бывають готовы, по всякому попавшемуся поводу, приписать ему мнѣнія и чувства совершенно противоположныя христіанскимъ.

Между тѣмъ, многіе ли изъ насъ имѣють больше правъ называться христіанами, чѣмъ Толстой? Напомню здѣсь исторію его обращенія, которую всѣ знаютъ, или, по крайней мѣрѣ, могутъ знать, но въ которую очень мало вникають. Какъ онъ самъ говоритъ, онъ былъ сперва нигилистомъ, т. е. не имѣлъ никакихъ религіозныхъ убѣжденій, да не имѣлъ, въ противоположность обыкновеннымъ нигилистамъ, и никакихъ политическихъ убѣжденій. И онъ не былъ въ этомъ случаѣ какимъ нибудь исключеніемъ; такихъ нигилистовъ у

насъ было и есть великое множество. Онъ жилъ тогда не столько правилами и мыслями, сколько своими чувствами и вкусами, и художественная дѣятельность, казалось, давала полный исходъ его душевнымъ силамъ. Вдругъ наступилъ переворотъ. Среди полного благополучія, когда слава его поднялась высоко, богатый, знатный, здоровый, окруженный любящей семьей, онъ вдругъ почувствовалъ пустоту земного счастья, почувствовалъ съ такою силой, что пришелъ въ отчаяніе. Невольно приходитъ на мысль сближеніе съ тѣмъ царевичемъ, который основалъ буддизмъ. Уже это одно отчаяніе Толстаго должно быть для насъ великимъ религіознымъ поученіемъ, и оно, безъ сомнѣнія, такъ и дѣйствуетъ на многихъ, оно для нихъ убѣдительный примѣръ, что ничто земное не можетъ насытить душу человѣка и что нужно обратиться къ небесному, къ религіи. А противники Толстаго, считающіе себя настоящими христіанами, должны бы серьезно спросить самихъ себя, точно ли они чувствуютъ всю тщету земныхъ благъ въ такой мѣрѣ, какъ онъ ее чувствовалъ?

Съ какою силой онъ почувствовалъ свою бѣду, съ такою же силой онъ сталъ искать отъ нея спасенія. Онъ отдался этому исканію всѣмъ сердцемъ и всею душой. Очень скоро онъ увидѣлъ, что отвлеченныя умствованія и мертвыя книги не дадутъ

ему успокоенія, и онъ выбралъ другой, *живой* путь, чѣмъ далъ намъ новое поученіе. Онъ сталъ искать вокругъ себя людей, которые знаютъ, зачѣмъ жить и какъ умирать, слѣдовательно людей истинно и твердо вѣрующихъ, и нашелъ ихъ въ русскомъ простомъ народѣ. Пусть не забудутъ ревнители христіанства, въ какой великой школѣ обучался вѣрѣ графъ Толстой. Они должны согласиться, что въ выборѣ этой школы имъ руководило глубокое религіозное пониманіе. Наши образованные классы таковы, что не могли дать ему того, чего онъ жаждалъ. Онъ обращался ко всѣмъ, онъ спрашивалъ о вѣрѣ Каткова, Аксакова, митрополита Макарія, но не былъ вполне удовлетворенъ ихъ отвѣтами; только у простыхъ людей онъ несомнѣнно нашелъ ту мудрость, которая утаена отъ мудрыхъ и разумныхъ и открыта младенцамъ. Каковы бы ни были убѣжденія Толстого, но при оцѣнкѣ ихъ никогда не слѣдуетъ забывать, что они развивались подъ вліяніемъ, можно сказать, наилучшаго христіанскаго элемента, какой только есть въ мірѣ. Долгіе годы Толстой провелъ въ близкомъ и постоянномъ общеніи съ простымъ народомъ, къ которому онъ и всегда чувствовалъ особенное влеченіе. Тутъ онъ учился, какъ „по Божью“ жить, мыслить и чувствовать. А къ этому нужно еще прибавить, что такую школу проходилъ человѣкъ,

одаренный геніальнымъ поэтическимъ чутьемъ, способный видѣть всѣ душевные изгибы и глубины. Лучше кого бы то ни было онъ могъ понять усвоить основы народнаго благочестія, и по всему этому, какъ бы мы ни были расположены искать у него ошибокъ и преувеличеній, но мы, безъ сомнѣнія, должны признать въ немъ живое и могущественное проявленіе той самой религіозности, которая одушевляетъ русскій народъ. Иностранные писатели часто говорятъ, что Толстой былъ обращенъ къ религіи однимъ изъ нашихъ раскольниковъ. Это не вѣрно; но понятно, что въ глазахъ иностранцевъ два различныя явленія подходятъ подъ одну формулу, подъ ту черту глубокой вѣры, которую знаетъ весь міръ за Россіей.

На этомъ дѣло, однако же, не могло остановиться. Такъ или иначе, но Толстой, конечно, не могъ ограничиться дѣтскою и простодушною вѣрой народа; неизбѣжно должны были возникнуть старанія привести ее себѣ къ сознанію, облечь ее въ ясныя понятія. Онъ сталъ читать богословскія книги, принялся изучать Священное Писаніе и посвятилъ на это много времени, много напряженнаго труда. Когда-то прежде онъ ради Гомера выучился по-гречески; теперь это знаніе пригодилось, чтобы вникать въ подлинникъ Евангелія, и онъ выучился по-еврейски, чтобы точно такъ же читать въ под-

лишникѣ Вехтій Завѣтъ. И тутъ, не должны ли мы поставить его себѣ въ примѣръ и образецъ? Кто изъ насъ, изъ тѣхъ, которые считаютъ себя настоящими христіанами и упрекаютъ его въ заблужденіяхъ, кто на столько заинтересованъ своимъ христіанствомъ, чтобы прилежно изучать Библию и писанія богослововъ? Мы предаемся всякой любознательности, но меньше всего мы любознательны къ тому, что считаемъ, будто бы, самымъ важнымъ для себя предметомъ. Толстой по казалъ, какъ должны бы мы вести себя въ этомъ отношеніи, если бы были истинно религіозными людьми.

Наконецъ извѣстно, что онъ измѣнилъ образъ своей жизни, что онъ старается на дѣлѣ выполнять свои новыя убѣжденія. Но тутъ, конечно, мы не можемъ произнести полнаго сужденія, ибо это его личное дѣло, которое очень трудно цѣнить и разбирать, даже если бы мы имѣли на то какое нибудь право и возможность. Тутъ отъ насъ легко могутъ укрыться самыя существенныя стороны, и мы что нибудь побочное и случайное примемъ, пожалуй, за самое главное. Достоверно и ясно только то, что онъ непрерывно дѣлаетъ усилія и попытки новой жизни. Всѣмъ извѣстно его отреченіе отъ мірскихъ благъ, этотъ виѣшній признакъ поворота; внутренніе же его подвиги не могутъ



быть извѣстны и, можетъ быть, останутся навсегда тайной между нимъ и Богомъ.

Если теперь мы соединимъ вмѣстѣ все указанныя черты, то предъ нами окажется полный образъ истинно религіознаго человѣка, притомъ образъ яркій и величавый. Среди нашей, въ сущности, языческой жизни, среди равнодушія къ религіи и невѣрующихъ и вѣрующихъ, онъ покажетъ намъ, какую силу можетъ и должна имѣть для человѣка религіозная идея. И такъ какъ онъ притомъ великій художникъ, такъ какъ всѣми симпатіями и мыслями онъ сливается съ народнымъ нашимъ благочестіемъ, то нѣтъ сомнѣнія, что онъ составляетъ одно изъ глубочайшихъ и замѣчательнѣйшихъ явленій религіознаго духа. Люди, преданные религіи, ставящіе духовную жизнь выше всего, должны смотрѣть на него и съ уваженіемъ, и съ величайшимъ любопытствомъ. Въ немъ они навѣрное найдутъ для себя много поучительнаго и назидательнаго, чего уже никакъ нельзя найти у тѣхъ, которые называютъ себя настоящими христіанами, но о вѣрѣ никогда не думаютъ, предоставляя эту заботу духовнику, а въ жизни спокойно плывутъ туда, куда дуетъ вѣтеръ.

## III.

## Рационализмъ и отреченіе отъ него.

„Все это такъ,—скажутъ намъ,—но вѣдь Толстой умствуетъ и по своему толкуетъ тексты; онъ—не вѣрующій, а раціоналистъ“.

Но, во-первыхъ, кто же не раціоналистъ? Какъ Мольеровскій мѣщанинъ былъ очень удивленъ, узнавъ, что говоритъ прозой, такъ безъ сомнѣнія, многіе ревнители вѣры не подозрѣваютъ, что раціонализмъ вообще есть дѣло неизбѣжное, и что сами они на каждомъ шагу оказываются раціоналистами. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одна благочистивая дама, живущая въ далекой глуши, спрашивала меня: „Объясните мнѣ, за что всѣ такъ бранятъ Толстаго?“—„Больше всего за то,—отвѣчалъ я—что онъ по своему толкуетъ Евангеліе“.—„Ахъ, Боже мой!—возразила она,—да вѣдь и я его толкую по своему, какъ понимаю, и нянюшка Михайловна тоже какъ понимаетъ, такъ и объясняетъ. Мы обѣ постоянно читаемъ Евангеліе, но у насъ тутъ не у кого и спросить, вѣрно ли мы поняли“. Признаюсь, это возраженіе на минуту сбило меня, и этотъ случай остался въ моей памяти, какъ самая простая формула вопроса о нашихъ отношеніяхъ къ тексту Священнаго Писанія. Не слѣдовало-ли мнѣ сказать этимъ двумъ читательни-

цамъ, что онѣ подвергаются большой опасности ложно понять слова Евангелія, и что имъ нужно запастись богословскими сочиненіями, устанавливающими правильное истолкованіе? Но вѣдь богословскія сочиненія были бы для нихъ въ тысячу разъ менѣе понятны, чѣмъ само Евангеліе. А потомъ, и это главное, для меня было внѣ всякаго сомнѣнія, что эта дама и ея безподобная Михайловна никогда евангельскихъ словъ не истолкуютъ и не могутъ истолковать въ дурномъ духѣ. Слѣдовательно, дѣло не въ томъ, что мы пускаемся въ собственныя объясненія и умствованія, а въ томъ, съ какимъ духомъ мы приступаемъ къ чтенію Писанія, чего мы въ немъ ищемъ. Многіе, какъ извѣстно, убѣждены, что это чтеніе вообще опасно. „Изученіе Священнаго Писанія вовсе не такъ легко и требуетъ головы не менѣе сильной, чѣмъ изученіе какой либо другой науки. Нѣтъ ничего опаснѣе, какъ плохое пользованіе текстами Отверженія“ \*). Если бы такъ, если бы только „сильныя головы“ способны были надлежащимъ образомъ понимать тексты Писанія и вполне безопасно ими пользоваться, то намъ слѣдовало бы признать очень вредною дѣятельность всѣхъ, кто такъ ревностно распространяетъ Писаніе среди самыхъ темныхъ слоевъ народа. По счастью, все

---

\*) См. *Русское Обозрѣніе*, 1890, декабрь, стр. 895.

это дѣло имѣеть совершенно другой видъ. Не умомъ постигается главный смыслъ Писанія, а сердцемъ, всѣми живыми силами нашей души. Кто приступаетъ къ Писанію съ тѣмъ религіознымъ чувствомъ, искра котораго таится въ самыхъ простыхъ и темныхъ душахъ, тотъ найдетъ въ божественной книгѣ пищу для этого чувства, и тѣмъ больше пищи, чѣмъ сильнѣй и глубже его чувство.

Всѣ мы отчасти раціоналисты, потому что во всякомъ дѣлѣ мы неизбѣжно разсуждаемъ, а если разсуждаемъ, то, значить, прибѣгаемъ къ какимъ нибудь началамъ и приемамъ разума, и даже всегда стараемся проводить эти приемы и начала какъ можно дальше. Но быть вполне раціоналистомъ, т.-е. опираться на одинъ только разумъ, едва ли кто можетъ, почему люди, стремящіеся къ полному раціонализму, обыкновенно отличаются лишь тѣмъ, что больше другихъ отрицаютъ и сомнѣваются. Если обратимся къ Толстому, то, конечно, онъ началъ съ раціоналистическаго отрицанія и сомнѣнія; но уже давно онъ пришелъ къ образу чувствъ и мыслей, которыя нельзя назвать раціонализмомъ.

Онъ повѣрилъ въ Евангеліе, онъ всѣмъ сердцемъ почувствовалъ и призналъ надъ собою власть Христова ученія. Поэтому, тогда какъ для раціоналиста Евангеліе есть книга на ряду съ другими

книгами, и слова этой книги подлежат обсужденію наравнѣ со всякими другими человѣческими словами, — для Толстаго эти слова есть высшій авторитетъ, несравнимый ни съ какимъ другимъ. Онъ не смотритъ на ученіе Христа объективно, не подвергаетъ его какой нибудь исторической или психологической критикѣ; онъ всѣмъ умомъ и сердцемъ стремится къ одной лишь цѣли — понять это ученіе, уразумѣть ту высочайшую правду, которая въ немъ заключается и которая уже влечетъ за собою исполненіе естественно и неизбѣжно. Онъ прилежно ищетъ въ словахъ Христа указаній для жизни и потомъ слѣдуетъ этимъ указаніямъ —

Безропотно, какъ тотъ, кто заблуждался

И встрѣчнымъ посланъ въ сторону иную.

Да мало сказать и *безропотно*: нужно сказать — *радостно*, какъ тотъ, кто съ ужасомъ чувствовалъ, что не знаетъ и не можетъ узнать, куда идти, и кого вдругъ вывели на прямой и ясный путь къ родному дому.

Развѣ это живое и сердечное отношеніе къ евангельской проповѣди похоже на раціонализмъ? Чтобъ яснѣе увидѣть разницу, возьмите настоящихъ раціоналистовъ, возьмите лучшаго изъ нихъ — Ренана. Мы всѣ его читали, и конечно съ несравненно большимъ вниманіемъ и уваженіемъ, чѣмъ Толстаго. Итакъ, припомните, что Ренанъ по време-

намъ относится къ Христу съ явнымъ чувствомъ своего умственного превосходства. Онъ признаетъ, что это былъ человѣкъ высшаго разряда (*un homme supérieur*), и очень восхищается Его нравственными качествами; но относительно людскихъ дѣлъ и хода историческихъ явленій Ренанъ открываетъ въ Немъ слѣды незнанія и непониманія, и замѣчаетъ объ этомъ съ нѣкоторою высокоумною снисходительностію.

Ничего подобнаго этой жалкой „игрѣ ума“, этимъ жалкимъ обобщеніямъ и отвлеченіямъ, вы не найдете у Толстаго. Для него Христосъ есть явленіе единственное и несравнимое, есть живое лицо, въ которомъ воплотилась высшая истина. Для него судить и критиковать Христа есть нелѣпое пустословіе, а слѣдуетъ дѣлать одно — съ открытымъ сердцемъ вникать въ Его жизнь и слова, потому что кто вникнетъ, тотъ и предастся имъ всею душой.

Опять скажу: нашъ великій художникъ подаетъ намъ всѣмъ великій примѣръ. Своимъ гениальнымъ чутьемъ онъ понялъ, какъ праздны и мертвенны всѣ отвлеченныя толкованія и изученія; онъ перешелъ отъ всякихъ разсужденій и изслѣдованій къ живой любви, къ радостной, сердечной покорности. Такой переходъ долженъ быть всегда цѣлью и концомъ исканія истины.

Величайшую несправедливость и величайшую обиду Толстому дѣлають тѣ, которые говорятъ и печатають, что онъ проповѣдуетъ „новую вѣру“, что онъ сочинилъ „новое евангеліе“. Конечно, его противники посредствомъ такого приѣма сразу выигрываютъ дѣло, — кто же захочетъ предпочесть Христовой вѣрѣ другую вѣру и другое евангеліе? Но къ подобнымъ вещамъ самъ Толстой не подавалъ никакого повода. Онъ постоянно твердитъ, что исповѣдуетъ только ученіе Христа и что желаетъ объяснить Христово Евангеліе, а не возвѣстить что-нибудь новое.

#### IV.

Мы вовсе не хотимъ разбирать здѣсь какія-нибудь ученія Л. Н. Толстаго, не хотимъ ни защищать ихъ, ни опровергать. Пусть это дѣлають другіе, какъ скоро сознають, что они достигли яснаго пониманія дѣла и что могутъ сказать о немъ что-нибудь твердое и хорошее. Наша цѣль гораздо проще и легче: мы хотѣли бы только указать на самыя ясныя и несомнѣнныя черты дѣла, на самыя очевидныя и неизбѣжныя точки зрѣнія, на которыя долженъ становиться всякій, кто берется судить объ этомъ дѣлѣ. Читая и слушая безчисленные толки о Толстомъ, часто нельзя не изумляться тому,

въ какихъ потемкахъ живутъ люди относительно важнѣйшихъ вопросовъ, и можно только радоваться, если наконецъ эти вопросы стали для нихъ вопросами, если наконецъ они вынуждены отдавать себѣ въ нихъ отчетъ. Но сила потемокъ очень велика; поэтому у многихъ, вмѣсто умственного и нравственного возбужденія, часто все ограничивается однимъ упорнымъ непониманіемъ и оканчивается совершенно несправедливымъ негодованіемъ и пренебреженіемъ. Очень любопытная черта: нападенія и крики на Толстаго у насъ несравненно распространѣе и жесточе, чѣмъ за границей, въ странахъ давняго образованія. Тамъ, очевидно, есть привычка, такъ сказать, къ теоретической терпимости, тамъ пріучились не отказывать разномыслящимъ въ уваженіи. Мы же, русскіе, будучи на практикѣ самымъ терпимымъ народомъ въ мірѣ, на словахъ и въ мысляхъ встрѣчаемъ всякое разногласіе съ какимъ-то ожесточеніемъ и беспощадно его отвергаемъ. Противъ Толстаго съ воплемъ поднимаются люди, не замѣчающіе, что сами они не имѣютъ никакого права подавать голосъ въ религіозныхъ и нравственныхъ вопросахъ. И какъ только разъ началось осужденіе, то ужъ безъ разбора на геніальнаго писателя взводится нелѣпость за нелѣпостію и обвинители не подумаютъ, что нужно бы тщательнѣе изучать его писанія, вникать въ духъ и



связь его рѣчей, прежде чѣмъ рѣшиться приписывать ему даже малую долю того, что они приписываютъ.

Когда укоряютъ его въ томъ, что онъ по своему пониманію религіи, по совѣтамъ нравственности, или даже по жизни,—плохой христіанинъ, невольно хочется сказать инымъ укоряющимъ: кто изъ васъ лучше, тотъ пусть первый броситъ въ него камень. „Онъ искажаетъ догматы“. Но развѣ за то, что мы этого не дѣлаемъ, мы стоимъ большой похвалы? Мы вѣдь ихъ не искажаемъ только потому, что вовсе о нихъ не думаемъ, что мы въ сущности совершенно къ нимъ равнодушны и предоставляемъ ихъ пониманіе и истолкованіе другимъ людямъ. Только поэтому мы и воображаемъ, что имѣемъ право считать себя настоящими православными. Мы не говоримъ и не размышляемъ о догматахъ, а потому, конечно, никакъ не можемъ исказить ихъ.

Но вѣдь въ строгомъ смыслѣ и этого сказать нельзя. Мы все-таки пускаемся иногда вспоминать и опредѣлять догматы, и такъ какъ всѣ мы невѣжды въ церковномъ ученіи, то мы неизбѣжно его искажаемъ; если хорошенько допросить насъ о нашемъ пониманіи религіозныхъ истинъ, то оказалось бы, что, почти безъ исключенія, каждый изъ насъ еретичествоуетъ въ томъ или въ другомъ пунктѣ. И мы спасаемся отъ ереси только однимъ, только тѣмъ,

что не придаемъ никакого значенія собственнымъ словамъ и мыслямъ, что мы готовы отказаться отъ нихъ по первому требованію.

Итакъ, все наше преимущество предъ Толстымъ состоитъ въ томъ, что мы не проповѣдуемъ того, что думаемъ, и даже, еще лучше, что мы вовсе не думаемъ о чемъ-нибудь такомъ, что нужно бы проповѣдывать. Единственно поэтому мы признаемъ себя хорошими христіанами, да поэтому же ревнители вѣры, если и не одобряютъ насъ, то, по крайней мѣрѣ, закрываютъ на насъ глаза и не считаютъ нужнымъ о насъ тревожиться. Между тѣмъ развѣ все это хорошо? Развѣ мы получаемъ въ силу этого какое-нибудь право судить и осуждать Толстого? Въ глазахъ людей преданныхъ религіи Толстой долженъ имѣть передъ нами великое преимущество, потому что онъ одушевленъ истинно религіозною ревностію. Ошибается ли онъ, или нѣтъ, по во всякомъ случаѣ онъ знаетъ, что онъ исповѣдуетъ, онъ долго объ этомъ думалъ, онъ долго и прилежно изучалъ самые источники вѣроученія. Чтобы намъ съ нимъ поравняться, чтобы пріобрѣсти право судить его не съ чужого голоса, намъ нужно дѣлать то самое, что онъ дѣлалъ. И, безъ сомнѣнія, въ образованныхъ классахъ иные почувствовали эту обязанность, такъ что, благодаря Толстому, кое-гдѣ началось чтеніе и изученіе Евангелія. Но большин-

ство, конечно, осталось нетронутымъ; они продолжаютъ кричать и порицать Толстого, сами не зная хорошенько за что, въ сущности же за то, что онъ нарушаетъ ихъ покой, тревожитъ ихъ невѣдѣніе и равнодушіе.

## У.

Главное дѣло относительно Толстаго, однако же, не въ догматахъ. Если мы хотимъ быть справедливыми къ Толстому и судить его съ надлежащей точки зрѣнія, то должны видѣть, что центръ его ученія составляютъ не какіе нибудь догматы, а христіанскія правила жизни, изложеніе и объясненіе нашихъ обязанностей. Онъ проповѣдникъ не какой нибудь теоріи, а *практическаго христіанства*, учитель нравственности. Сюда тяготеютъ всѣ его мысли, и если мы не будемъ имѣть этого въ виду, то мы ничего въ немъ не поймемъ.

Напримѣръ, если мы находимъ, что онъ что нибудь отрицаетъ (а отрицаніе чаще всего вѣдетъ къ ошибкѣ, какъ замѣтилъ Лейбницъ), то мы заранѣе должны предполагать, что онъ дѣлаетъ это не изъ простаго скептицизма, не ради какой-то борьбы съ авторитетомъ, а потому, что видитъ въ отрицаемомъ помѣху чисто нравственному настроенію. Предъ такимъ стремленіемъ, передъ такою постановкой во-

проса мы не можемъ не почувствовать уваженія и вниманія. Ибо нравственность есть дѣйствительное мѣрило человѣческаго достоинства и верховная точка зрѣнія. Никто не обязанъ имѣть высокій умъ, и всѣ обязаны имѣть чистую совѣсть. Всякія человѣческія соображенія, всѣ наши желанія и блага должны отступить на второй планъ предъ стремленіемъ къ нравственному совершенству. Да какъ скоро человѣкъ завидѣлъ этотъ путь и одушевленъ нравственною силою, онъ уже не можетъ быть покоренъ никакою иною мудростію, никакимъ инымъ могуществомъ. Для нѣкоторыхъ философовъ, напримѣръ, для Канта, нравственное чувство составляетъ самый источникъ религіи, и изъ требованій этого чувства они выводятъ религіозныя истины.

Именно съ этой стороны преимущественно намъ слѣдуетъ разсматривать Толстаго. Нужно прежде всего видѣть въ его писаніяхъ ихъ нравственное содержаніе вообще, а затѣмъ, опредѣленіе, ихъ стремленіе къ христіанскому правоученію, какъ къ высшему и окончательному. Все, что сюда не относится, теоретическія истолкованія и практическія отрицанія, уже имѣютъ у Толстого второстепенное значеніе, и, не въ мѣру останавливаясь на нихъ, мы только затемнимъ дѣло. Поэтому, если кто непременно желаетъ опровергнуть

Толстаго, тотъ пусть не ловить его на ошибочныхъ взглядахъ на природу Бога, міра и людей, на тѣ или другія слова Писанія, а пусть доказываетъ, если можетъ, что Толстой проповѣдуетъ дурныя нравственныя начала, что онъ не понялъ и извратилъ христіанское правоученіе. Нѣкоторые духовныя лица (можетъ быть, впрочемъ, вѣрнѣе было бы здѣсь поставить вмѣсто множественнаго—единственное число) поняли, что именно въ этомъ заключается вопросъ о Толстомъ; но, къ несчастію, правильно поставивъ вопросъ, они сейчасъ же сошли съ вѣрнаго пути, принявшись съ непонятною легкостью приписывать Толстому всевозможныя дикости. Какъ и почему это дѣлается, дѣйствительно трудно понять. Дѣло доходить до того, что, по случаю увѣщаній Толстаго жить въ деревнѣ, говорили, что онъ ограничиваетъ всѣ потребности человѣка ѣдою и питьемъ, а по случаю *Крейцеровой сонаты* — что онъ чуть ли не совѣтуетъ убивать невѣрныхъ женъ, или, по крайней мѣрѣ, совершенно оправдываетъ Познышева. Въ этой сумятицѣ истинно дикихъ сужденій, вихремъ поднявшихся и кружащихся около Толстаго, прежде всего ясно одно,—до какой степени онъ противорѣчитъ ходячимъ понятіямъ, установившемуся складу мыслей, и до какой степени онъ поразилъ умы, разбудилъ ихъ и встревожилъ. Одинъ изъ

его противниковъ, и притомъ очень жестокихъ, хорошо выразилъ это впечатлѣніе. „Что намъ дѣлать», восклицаетъ онъ, — «въ виду этой страшной Медузиной головы, этого колоссальнаго, какъ по силѣ и полнотѣ, такъ и по совершенному отсутствію основаній (?), осужденія всего нашего бытія (*т. е. нашей жизни*) въ безсмыслии, лжи и развратѣ“ \*)?

Тутъ насъ должна изумлять и радовать сила, съ которою дѣйствуетъ проповѣдь, но вмѣстѣ съ тѣмъ намъ объясняется, отчего все пустились защищаться отъ нея, и защищаются какъ попало и чѣмъ попало. Страннѣе же всего и почти невѣроятно тутъ одно явленіе: какимъ образомъ люди ученые, обладающіе духовнымъ просвѣщеніемъ, не видятъ настоящихъ основаній этой проповѣди, или даже находятъ въ ней *совершенное отсутствіе основаній*? Почему отъ нихъ совершенно укрылся христіанскій характеръ этой проповѣди, тогда какъ онъ выступаетъ въ ней повсюду, въ чертахъ яркихъ, выпуклыхъ, даже преувеличенныхъ? Чтобы отвѣчать на это, остается одно предположеніе: должно быть никому уже не знакомъ истинный духъ христіанскаго нравоученія; должно быть онъ сталъ очень далекъ отъ

---

\*) *Вопросы Философіи и Психологіи*, кн. 4-я, стр. 93, статья П. Е. Астафьева.

мыслей даже людей очень ученыхъ и просвѣщенныхъ. И таково дѣйствительное объясненіе дѣла: другой духъ завладѣлъ нашимъ просвѣщеніемъ, и мы, теперешніе просвѣщенные люди, не только не слѣдуемъ Христу, но и перестали понимать, чему онъ училъ.

Надъ Толстымъ иногда подсмѣиваются за то, что, рассказывая о своихъ поискахъ за истинною нравственностію, онъ выражается съ большою живостію, какъ будто онъ первый нашелъ отвѣты на вопросы, которые старался разрѣшить. Если бы мы оглянулись на себя, то мы перестали бы смѣяться; среди насъ Толстой, конечно, былъ бы правъ, сказавъ, что именно *онъ открылъ* настоящій духъ Христова правоученія.

## VI.

Судить о христіанскомъ правоученіи вовсе не легко для тѣхъ, кто попалъ въ потокъ современнаго образованія и никогда не выходилъ изъ него. Вся наша жизнь построена на другихъ началахъ. Но духъ этого ученія, возникшій двѣ тысячи лѣтъ назадъ, еще дѣйствуетъ во всемъ мірѣ и прошелъ черезъ долгую исторію, въ которой раскрывалъ себя въ различныхъ направленіяхъ, выражался въ жизни и мысли длиннаго

ряда поколѣній, воплощался во множествѣ разнообразныхъ лицъ, часто несравненныхъ по высотѣ души и всякимъ достоинствамъ. Все это, весь этотъ міръ—и прошлый, и настоящій—остается намъ чуждымъ; мы прикасаемся къ нему только внѣшнимъ образомъ и не имѣемъ понятія о томъ, какъ онъ огроменъ и что онъ въ себѣ содержитъ. Замѣчательно, что до сихъ поръ объемъ того, что пишется и печатается по части религіи, т. е. по части богословія, исторіи христіанства, христіанскихъ наставленій и размысленій, толкованій Библіи, споровъ, рассказовъ и пр., во всѣхъ странахъ объемъ этой литературы далеко превосходитъ объемъ всякой другой области писанія и печатанія. Но эта духовная сфера какъ будто отдѣлена отъ насъ высокою стѣной и ни малую долей не входитъ въ колею нашихъ привычныхъ ежедневныхъ чтеній, мыслей и разговоровъ. Туда намъ нужно заглянуть, тамъ искать поученія и точекъ опоры, если желаемъ имѣть какія нибудь основанія для сужденія о Толстомъ.

Духъ христіанскаго правоученія есть нѣчто глубокое и живое, есть нѣкоторый поворотъ всей человѣческой души въ сторону вѣчности. Онъ овладѣваетъ всѣмъ существомъ человека и, живя въ немъ, стремится измѣнить всѣ его склонности и дѣйствія, кладетъ свою печать на всѣ движенія



ума и сердца. И онъ всегда себѣ вѣренъ; въ различныхъ людяхъ и въ различныхъ обстоятельствахъ онъ даетъ все тѣ же различныя развитія и уклоненія. Онъ есть нѣкоторая жизнь, высшая жизнь нашей души, и, какъ жизнь, онъ вѣчно тотъ же, и вѣчно новъ и свѣжъ. Поэтому, если взять любое изъ наставленій Толстаго, любую изъ его мыслей, относящихся къ нравоученію, то всегда можно найти эту мысль, или близкую къ ней, въ одномъ изъ учений, возникавшихъ на почвѣ христіанства. И въ предѣлахъ церкви, и за ея предѣлами, одинъ и тотъ же духъ принималъ множество видоизмѣненій. Секты были обыкновенно только болѣе рѣзкими и крайними изъ этихъ видоизмѣненій. Такимъ образомъ, отъ самаго начала христіанской исторіи и до нашего времени идетъ непрерывный рядъ и такихъ ученій, въ которыхъ на первое мѣсто ставилась практика святой жизни, осуществленіе нравственныхъ идеаловъ. Послѣдователи этихъ мирныхъ и чистыхъ ученій всегда внушали къ себѣ невольное уваженіе, и многіе стали для всего міра образцами, типами нравственныхъ достоинствъ. Монахъ, подвижникъ, гернгутеръ, квакеръ—эти слова сдѣлались нарицательными, стали общимъ названіемъ для обозначенія извѣстнаго поведенія, извѣстныхъ добрыхъ качествъ.

Вотъ въ какой области нужно искать наиболѣе

близкихъ аналогій для проповѣди Толстаго. Онъ приходитъ часто къ заключеніямъ, которыя уже давно выведены. Этого обыкновенно не понимаютъ и не знаютъ его порицатели; они иногда считаютъ личными его фантазіями, осмѣиваютъ и презируютъ то, подъ чѣмъ охотно подписались бы христіанскія свѣтила давняго или новаго времени.

Никакъ не слѣдуетъ, однако же, думать, что рѣчи Толстаго составляютъ какое-нибудь подражаніе, или повтореніе стараго. Удивительная сила этой проповѣди зависитъ именно отъ ея чрезвычайной самобытности. Самобытность вѣдь не всегда состоитъ въ новостяхъ предмета; высшая оригинальность, конечно, заключается въ глубинѣ и полнотѣ, съ которою писатель проникаетъ въ какое-нибудь всегдашнее, вѣчное начало человѣческой души. На представленія Толстаго представляютъ полное своеобразие; они движутся по своимъ особымъ путямъ, захватываютъ особыя сферы чувствъ и предметовъ и освѣщаютъ ихъ съ особыхъ сторонъ. Ибо это живая, искренняя рѣчь человѣка, откровеніе его сердца, живущаго тѣмъ самымъ, что онъ говоритъ. Тутъ все новое, потому что все живое. Вполнѣ характеризовать его направленіе было бы, я думаю, не легко. Въ самыхъ первыхъ его художественныхъ произведеніяхъ уже сильно высказываются его христіанскіе инстинкты. Въ *Дѣтствѣ* юродивый Гриша

и нянюшка Наталья Савишна описаны съ сочувствіемъ, къ которому не примѣшивается ни единой нарушающѣй черты. Въ самомъ центрѣ *Войны и мира* помѣщена фигура Платона Каратаева и его разсказъ о безвинно пострадавшемъ купцѣ,—тотъ разсказъ, который, какъ говорятъ, особенно полюбился народу, когда былъ изданъ отдѣльно. *Анна Каренина* оканчивается обѣтомъ Левина „жить по Божью“. Мы напоминаемъ здѣсь только двѣ-три точки; но имъ соотвѣтствуетъ весь духъ этихъ произведеній: безпощадное обличеніе всякой фальши, всякой душевной нечистоты; постоянное преклоненіе предъ „простотой, добромъ и правдой“. Невозможно представить себѣ вкуса болѣе чистаго и болѣе тонкаго, чѣмъ тотъ, съ какимъ проводится вездѣ черта между дурнымъ и хорошимъ, между душевнымъ безобразіемъ и душевною красотой. И красотой признается только одно смиренное и безкорыстное, только цѣломудренное и самоотверженное, только искреннее и любящее. При этомъ художникъ чуждъ всякой восторженности и сентиментальности, всякихъ порывовъ и преувеличеній; напротивъ, онъ ведетъ дѣло съ неподкупною трезвостью взгляда, съ небывалою остротой анализа, какъ человѣкъ, всѣми силами ума ищущій истины и ненавидящій обольщеніе. Такъ составилъ въ его душѣ неотразимый идеаль нравственной жизни,

больше всего почерпнутый изъ душевнаго склада простаго народа, и, когда потомъ поднялись въ немъ религіозные запросы, онъ скоро понялъ, что это идеаль христіанскій, и сталъ изучать его въ Евангеліи и выражать въ своихъ разсужденіяхъ.

Мы не будемъ здѣсь пытаться полнѣе опредѣлить особенности правоученія Толстого, которыя легче чувствовать, чѣмъ высказать; скажемъ лишь вообще, что писанія его чрезвычайно поучительны. представляютъ множество чертъ своеобразнаго склада нравственныхъ понятій, притомъ такого, который особенно привлекателенъ для русскаго чувства.

## VII.

Итакъ, у насъ явился христіанскій правоучитель. Какая радость! Осуждая его за то, что онъ впадаетъ въ ересь, нужно же помнить, что, во-первыхъ, онъ все-таки человѣкъ религіозный, слѣдовательно несравненно ближе къ правильно вѣрующимъ и несравненно лучше той безчисленной толпы, которая отвергаетъ всякую религію, которая питаетъ къ ней презрѣніе и ненависть. А во-вторыхъ, что значитъ вся его ересь сравнительно съ тѣми ужасными ученіями, которыя у насъ такъ распространены и дѣйствіе которыхъ еще недавно изумляло весь міръ и заставляло содро-

гаться Россію, какъ будто она готова была разрушиться?

Если мы, вообще, взглянемъ на наше умственное развитіе, на тѣ идеи, которыя жили и господствовали въ нашихъ образованныхъ классахъ, то мы должны будемъ признать Толстаго явленіемъ и радостнымъ, и совершенно неожиданнымъ. Наше просвѣщеніе, по нѣкоторому неизбѣжному ходу вещей, получило общій характеръ отрицанія, — фактъ извѣстный, давно и часто обсуждавшійся. Укажемъ на тѣ два разряда людей, которыхъ нужно считать лучшими образчиками нашего просвѣщенія, его наиболѣе послѣдовательными носителями. Однихъ можно назвать анархистами, потому что принципъ ихъ — произволъ индивидуальнаго чловѣка, слѣдовательно, отрицаніе всякихъ началъ нравственныхъ, общественныхъ, государственныхъ, экономическихъ, какъ стѣсняющихъ индивидуальный произволъ. Эти люди признаютъ только одно начало, — равноправность всѣхъ произволовъ, видятъ въ этой равноправности единственное общее благо и потому исповѣдуютъ политическій радикализмъ, т. е. считают долгомъ разрушать всякую власть, всякую связь между людьми, идущую дальше полюбовныхъ соглашеній. Такова обыкновенная, торная дорога нашего просвѣщенія. Отсюда непрерывное раздраженіе, постоянныя коле-

банія въ частной и въ общей жизни. По этой дорогѣ идетъ главная масса нашихъ образованныхъ классовъ, и только внутреннія тайныя силы, только незаглушимые инстинкты удерживаютъ большинство отъ крайнихъ ходовъ, на которые толкаютъ его сознательныя его понятія.

Но есть другой разрядъ просвѣщенныхъ людей, въ сущности гораздо худшій, хотя менѣе замѣтный. Они вполнѣ заслуживаютъ имени нигилистовъ, потому что дѣйствительно ничего не признаютъ, кромѣ себя и своихъ наслажденій. Они ни съ чѣмъ не борются, а только всѣмъ пользуются. Для нихъ религія, государство, патріотизмъ, — чистые предразсудки, но предразсудки удобные и необходимые для ихъ спокойствія и благосостоянія. Они бываютъ часто безукоризненно честны, приличны и даже справедливы, но только потому, что это наилучшія условія для пріятнаго общежитія, которыя глупо было бы нарушать. Но гдѣ можно, тамъ они такіе деспоты, распутники и эгоисты, какихъ еще міръ не создавалъ. И понятно, что эти истинные нигилисты — великіе враги не только анархистовъ, но и всякаго, кто вздумаетъ тревожить ихъ совѣсть серіозными требованіями.

Вотъ среди какой атмосферы возникъ Толстой. Полное отсутствіе всякой религіозности, у лучшихъ — злоба, у худшихъ — гиль, и нигдѣ про-

свѣта среди этого мрака. Казалось бы, ревнители вѣры должны были съ ужасомъ и сокрушеніемъ смотрѣть на такой ходъ умовъ, продолжавшійся многіе годы и десятилѣтія, и Толстой долженъ былъ ихъ обрадовать, какъ неожиданно появившаяся заря. Между тѣмъ, если судить по многимъ ихъ рѣчамъ и заявленіямъ, можно подумать, что они равнодушно сносили тьму и хаосъ нашего образованнаго міра, и что эта поднявшаяся заря вызвала у нихъ только раздраженіе, а не сочувствіе. Они вооружились противъ Толстаго съ бѣльшимъ жаромъ, чѣмъ когда-нибудь вооружались противъ самыхъ жестокихъ отрицателей и вольнодумцевъ. Они вовсе не замѣчаютъ, что, опровергая его, они большею частію противорѣчатъ сами себѣ. Толстой сталъ проповѣдывать преданность волѣ Божіей, нестяжаніе, воздержаніе, непротивленіе; случилось, однако же, что даже ипоки нисколько не радовались этой защитѣ обѣтовъ, ими самими даваемыхъ и соблюдаемыхъ, а, напротивъ, находили тутъ преувеличеніе и даже клевету на мірскую жизнь.

Споры и нападенія, какъ борьба убѣжденій, какъ знакъ живой любви къ предмету, есть хорошее дѣло. Понятно, что духовныя лица, глубоко заинтересованныя ученіями вѣры и нравственности, съ такою ревностію выступили со своими сужде-

ніями, когда вопросъ коснулся важнѣйшаго ихъ дѣла. Но очень жаль, что они не всегда ясно видятъ общее положеніе обстоятельствъ, среди которыхъ дѣйствуютъ. Если бы Толстой принадлежалъ какъ нибудь къ церковной іерархіи и вдругъ отступилъ отъ правильнаго ученія и старался увлечь своими толкованіями лицъ, принадлежащихъ къ хранителямъ этого ученія, то, конечно, тутъ была бы возможность вреда, противъ которой нужно бы было вооружиться. Если бы Толстой обратился къ простому народу съ проповѣдью какихъ-нибудь новшествъ въ вѣрѣ, то нужно было бы тоже внимательно стоять на-сторожѣ. Но вѣдь ни того, ни другаго сказать нельзя. Онъ не принадлежитъ къ этимъ сферамъ, онъ не изъ нихъ вышелъ и не въ нихъ дѣйствуетъ. Онъ литераторъ, т. е. писатель такъ называемыхъ образованныхъ классовъ; онъ вышелъ изъ нашего свѣтскаго просвѣщенія и дѣйствуетъ своими писаніями въ той сферѣ, гдѣ имѣетъ силу и значеніе свѣтская литература. Для духовныхъ лицъ онъ постороннее явленіе, сколько видно, не могущее производить на нихъ никакого дѣйствія; для простого народа его рассказы составляютъ только подтвержденіе вѣрованій и понятій, въ которыхъ этотъ народъ издавна растетъ. Но для литературы и литературной публики онъ есть нѣчто истинно



новое, и тутъ происходитъ его вліяніе, удивительное по обширности и силѣ.

Возьмите же теперь содержаніе и свойство этого вліянія, сообразите, до какой степени среда, гдѣ это вліяніе дѣйствуетъ, была искажена и обезсилена въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, какія чудовищныя извращенія душъ она порождала, какъ была чужда всякой религіозности,—и вы увидите, что Толстой есть явленіе, на которое можно только дивиться и радоваться. Наше умственное движеніе, которому грозила жалкая участь все больше мелѣть и все шире расплываться мелкими потоками матеріализма и революціонаризма, вдругъ получило неожиданный поворотъ, давшій ему иное, глубокое теченіе, и истинно отрадный по тому духу, которымъ онъ внушенъ. Не только у насъ, но во всѣхъ образованныхъ странахъ, запуганныхъ нашимъ нигилизмомъ, невольно обратилось вниманіе на этотъ поворотъ, и уже не съ чувствомъ страха и отвращенія, а съ чувствомъ любви и умиленія.

### VIII.

Но какъ же это могло случиться? Не есть-ли вся эта исторія—пустое поверхностное волненіе, въ которомъ нѣтъ связи между движеніями, и они

несутся то въ ту, то въ другую сторону, смотря по прихоти вѣтра? Нѣтъ, самые размѣры дѣла уже такъ крупны, что нельзя думать подобнымъ образомъ. Всматриваясь въ различныя формы, которыя принимало и принимаетъ волненіе нашей „интеллигенціи“, мы увидимъ, что источникъ этихъ движеній всегда одинъ. Интеллигенція мечется потому, что она оторвана отъ почвы, что у нея нѣтъ твердыхъ опоръ для спокойнаго движенія по опредѣленнымъ направленіямъ, и она постоянно ищетъ этихъ опоръ, она гонится за ихъ призраками, и гонится искренно и горячо, жертвуя всѣмъ, ломая все, часто рискуя и своею, и чужою жизнью. Съ этой стороны, если взять эту существенную черту дѣла, осудить нашу интеллигенцію невозможно. Чтò же ей дѣлать, если, отбившись отъ своего народа и его вѣры, она повисла на воздухѣ? Если просвѣщеніе, почерпаемое съ Запада, не даетъ ей покоя и устойчиваго положенія, а приносить съ собою только тревогу и раздраженіе?

Русское племя—да, кажется, и всякое славянское—чрезвычайно расположено къ умствованію. Вопросы о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ всегда находятъ себѣ у насъ ревностныхъ рѣшителей. Обыкновенно наше образованіе, а равно и научное подготовленіе, притупляетъ, отбиваетъ этотъ вкусъ

къ общимъ философскимъ вопросамъ, но онъ часто обнаруживается у простыхъ людей, да пробивается и у всякихъ, какъ неизгладимый слѣдъ того религіознаго отношенія къ жизни, которое внушается христіанствомъ. Знать цѣль человѣка, знать смыслъ жизни—это желаніе въ насъ не угасаетъ, и вмѣстѣ не угасаетъ расположеніе ни передъ чѣмъ не остановиться, все бросить ради этой цѣли и этого смысла. Отсюда наша неустойчивость; надъ нами не имѣютъ прочной власти, не могутъ связать и поработить насъ никакія лишенія и блага, такъ какъ мы всегда пытаемся стать выше ихъ.

По сущности своей, это, безъ сомнѣнія,—прекрасное настроеніе, но оно тѣмъ опаснѣе и уродливѣе, когда бываетъ направлено въ дурную сторону. Таковъ былъ и есть нашъ нигилизмъ; радикальное излѣченіе отъ этого зла, очевидно, возможно лишь тогда, если мы самую силу, его порождающую, обратимъ въ добрую сторону. И это сдѣлалъ Толстой, и въ этомъ разгадка удивительнаго поворота умовъ.

Для поясненія сошлемся на замѣчанія, которыя недавно высказалъ одинъ ученый иностранецъ, взглянувшій на дѣло съ особой точки зрѣнія.

Французскій политико-экономъ Сентъ-Роменъ пишетъ, что у насъ, въ Россіи, молодые люди слишкомъ мало расположены „искать обезпеченной

и почтенной жизни въ какомъ-нибудь ремеслѣ или искусствѣ“, что русскіе, вообще, „имѣютъ рѣзко проявляющійся вкусъ къ отвлеченностямъ и мечтаніямъ“, и отъ этого вышло вотъ что: „Въ то время, когда міръ стремится по пути матеріальнаго прогресса, нашъ реформаторъ, графъ Л. Толстой, съ великолѣпною наивностью садится себѣ на краю дороги и приглашаетъ проходящихъ присѣсть около, покинуть промышленный трудъ и заняться самою простою, первобытною обработкой своего клочка земли. Понятно,“ — восклицаетъ Сень-Роменъ, — „онъ останавливаетъ только тѣхъ, у кого нѣтъ силъ идти, хромыхъ да лѣнивыхъ. Крѣпкіе проходятъ, даже не взглянувъ на него“ \*).

Вотъ какъ представляется эта исторія тому, кто смотритъ на нее съ точки зрѣнія чисто земныхъ благъ, „жизни міра“, какъ выражается Л. Н. Толстой. Французскій ученый думаетъ, что „обезпеченная и почтенная жизнь“ есть благо, котораго каждый долженъ желать, что ради этого блага нужно отгонять отъ себя всякія „отвлеченности и мечтанія“, и что молодые люди, одаренные свѣжими силами и жаждой дѣятельности, непременно должны выходить на „путь матеріальнаго про-

---

\*) „Русск. Обзор“. 1890, декабрь, стр. 892, 894, 896. (Статья Сень-Ромена *Les réformateurs russes* явилась въ *La science sociale*, 1890, t. X. 1. 3.)

гресса, по которому стремится міръ“ въ настоящее время.

Эти совѣты, безъ сомнѣнія, благожелательны; но сейчасъ видно, что они берутъ дѣло не вполне, и потому не могутъ на всѣхъ подѣйствовать. Есть люди, которые ставятъ на первомъ мѣстѣ не то, чтобы жизнь ихъ была „обезпечена и почтенна“, а то, чтобы она была самоотверженна или, по крайней мѣрѣ, совершенно чиста и справедлива. Точно такъ же, иные не находятъ ничего привлекательнаго въ томъ, чтобы идти по пути матеріальнаго прогресса и ему содѣйствовать,—напротивъ, готовы на труды и жертвы для прогресса нравственнаго. Осудить такихъ людей мы никакъ не можемъ, и нужно бы было даже считать великимъ горемъ, если бы они стали у насъ исчезать.

## IX.

Удивительнаго въ наставленіяхъ Толстаго нѣтъ ничего. „Помилуйте!“—говорилъ намъ одинъ почтенный человѣкъ, сердившійся на упадокъ ума и творчества Толстаго:—„онъ пустился теперь въ ту самую мораль, которую знаетъ и можетъ проповѣдывать каждый пономарь!“ Удивительно и истинно чудесно то, что эти наставленія подѣй-

ствовали, что эта „пономарская мораль“ вдругъ обнаружила такую силу въ той средѣ, въ которой прежде была встрѣчаема только скукою и презрѣніемъ. Уже съ давняго времени на нашу интеллигенцію не имѣли никакого дѣйствія ни простой народъ, ни духовныя лица. Народъ не могъ имѣть дѣйствія потому, что просвѣщенные люди ставили себя далеко выше его и все мечтали только о томъ, чтобы просвѣтить и облагородить эту темную массу. Духовныя лица были безсильны потому, что ихъ мысли и рѣчи такъ же не входили въ общеніе, не сливались съ понятіями и взглядами нашего просвѣщенія, какъ масло не сливается съ водою. Толстой сдѣлалъ нѣчто, повидимому, невозможное: онъ добылъ изъ какой-то глубины живую воду, съ которою могутъ сливаться и наша обыкновенная вода, и наше обыкновенное масло. Если вспомнимъ, что онъ никогда прежде не былъ любимцемъ молодого поколѣнія и что онъ сталъ рѣзко противорѣчить самымъ распространеннымъ его стремленіямъ, то насъ поразитъ жизненность мысли, которая нашла себѣ отзывъ, не смотря на эти препятствія.

И странно было бы не радоваться этому дѣйствию. Огромное и благотворное значеніе дѣятельности Толстого иногда было признаваемо даже духовными писателями, т. е. тѣми, чьи сужденія

въ этомъ дѣлѣ всего строже и неуступчивѣ. Приведемъ нѣсколько словъ, сказанныхъ года четыре назадъ въ журналѣ *Странникъ*. Авторъ доказываетъ, что со времени освобожденія крестьянъ умственное движеніе въ нашемъ обществѣ, не смотря на свою порывистость и хаотичность, все же дѣлало успѣхи, что въ обществѣ есть память извѣстныхъ уроковъ, созрѣли нѣкоторыя мысли, и потомъ говорить:

„Хотите-ли убѣдиться въ этомъ наглядно? Вотъ вамъ новѣйшій случай: стоило графу Л. Н. Толстому выступить съ опытомъ, такъ сказать, *духовной* соціологіи, какъ и весь міръ за нимъ двинулся,—двинулась не только масса (мы можемъ утвердительно говорить объ этомъ), но двинулась и наша интеллигенція. И думаете-ли вы, что это одно изъ *модныхъ*, въ старомъ смыслѣ, теченій, вызванныхъ къ жизни случайнымъ потокомъ времени и, къ тому же, усиленныхъ классическимъ именемъ самого писателя? Но это едва-ли такъ: имя, конечно, именемъ, какъ и талантъ—талантомъ, но есть тутъ *остатокъ*, который покроетъ собою талантъ и имя. Остатокъ—въ томъ, что Толстой не только наилучшимъ образомъ пояснилъ самую мысль 19 февраля, около которой бродило общество, опредѣливъ эту мысль не въ моментъ *политическомъ*, что по существу легко-

мысленно и поверхностно, и за что, однако же, все время цѣплялось общество, а въ смыслѣ *соціальномъ*, что неизмѣримо глубже и достойнѣе освободительнаго начала,—но и въ томъ, что этой же мысли онъ придалъ оттѣнокъ *духовный*, оттѣнокъ внутреннихъ, нравственныхъ, поставивъ вопросъ о *правдѣ*, о смыслѣ личной и общей жизни, о переустройствѣ самаго общежитія... И въ этой мысли—успѣхъ Толстаго, и здѣсь же, если брать *только* одинъ моментъ,—его безспорная заслуга предъ самимъ обществомъ“.

Затѣмъ авторъ утверждаетъ, что обществу теперь „остается сдѣлать *одинъ шагъ*“, чтобы „начать новый періодъ существованія“, именно нужно „перейти къ другой мысли“ и признать двѣ вещи:

„1) что необходима *до конца* реформа его *понятій* (въ параллель великой внѣшней свободѣ) и

„2) что *реформу* своихъ понятій оно можетъ взять *только въ началахъ христіанства и въ понятіи самой церкви*“ \*).

Вотъ изложеніе смысла дѣятельности Толстаго, которое въ общихъ и главныхъ чертахъ, безъ сомнѣнія, совершенно вѣрно. Дѣйствительно, эта дѣятельность была не случайна, а составляетъ

---

\*) *Страники*, духовный журналъ, 1886, декабрь, стр. 711, 712.



выходъ изъ того напряженнаго исканія и броженія, въ которомъ были умы; дѣйствительно, величайшая заслуга этой дѣятельности состоитъ въ ея *духовномъ* характерѣ, т. е. въ томъ, что она углубилась до самого корня дѣла, до вѣчныхъ началъ нашей жизни. Только этимъ объясняется ея успѣхъ; измученныя души, страдавшія долгіе годы или нравственною пустотой, или незаживающею язвой враждебныхъ чувствъ, вдругъ нашли себѣ успокоеніе, и нигилистъ, начинявшій бомбы, съ радостью обратился въ исповѣдника непротивленія.

Если взять вліяніе Толстаго въ полномъ объемѣ этого вліянія, то нельзя не видѣть его добрыхъ слѣдствій, и едва ли можно отыскать какія-нибудь вредныя, хотя вредъ сопровождаетъ обыкновенно и наилучшія изъ человѣческихъ дѣлъ. Благодаря Толстому, вездѣ, во всѣхъ слояхъ образованнаго общества поднялись вопросы нравственности и религіи, т. е. возникъ такой интересъ, который глубоко спалъ и, казалось, былъ погребенъ навѣки. Какъ этому не радоваться! Люди, для которыхъ церковная проповѣдь не имѣла никакого значенія, которые жили одними приличіями, выгодами и удовольствіями, или же только злобились, не находя для себя другихъ мыслей и другаго дѣла, кромѣ вражды къ окружающему ихъ строю

жизни, эти люди вдругъ почувствовали въ себѣ пробужденіе религіозныхъ идей, пробужденіе совѣсти, поняли, до какой степени они были неправы предъ своею душой и предъ ближними, — и это ихъ умиротворило, подняло, оживило.

И это не у насъ только, въ Россіи; — благотворное вліяніе нашего великаго писателя отзывается и у другихъ народовъ, въ странахъ давняго образованія. Вотъ что писалъ М. Вогюэ въ началѣ прошлаго года въ *Письмахъ о современномъ положеніи Франціи*:

„Среди высшей культуры, среди молодежи вполне образованной и сознательно относящейся къ самой себѣ, перемѣна въ настроеніи умовъ поразительна; ее можно резюмировать въ нѣсколькихъ словахъ: пробужденіе идеализма, доказанное вкусами и первыми произведеніями этой молодежи въ литературѣ, философіи и искусствѣ; широкая терпимость и даже живая симпатія ко всѣмъ формамъ религіозной идеи; серіозное исканіе смысла жизни, возрастающій интересъ къ религіознымъ вопросамъ, большее равнодушіе и даже нѣкоторое презрѣніе къ чистой политикѣ; безусловная потребность искренности въ отношеніи къ самому себѣ и другимъ, а потому несомнѣнное отчужденіе отъ революціонныхъ догматовъ и отъ условныхъ фразъ, которыми вотъ уже столѣтіе обольщаютъ нашу страну“. „Рас-

пространеніе русской литературы играетъ значительную роль въ этомъ новомъ теченіи. Когда спрашиваютъ у самыхъ выдающихся изъ этихъ молодыхъ людей, какая книга имъ больше всего по душѣ, многіе отвѣчаютъ: *Война и миръ*“ \*).

Вогюэ говоритъ здѣсь вообще объ умственномъ движеніи во Франціи и характеризуетъ настроеніе избранной части молодежи, именно той, которая подаетъ надежду духовнаго обновленія. Читатель легко увидить, какія изъ чертъ этого настроенія были поддержаны или даже возбуждены Толстымъ, котораго таѣ хорошо истолковалъ своимъ соотечественникамъ самъ же Вогюэ \*\*).

Мы видимъ изъ этого, что французы радуются доброму вліянію Толстаго, и можемъ только желать, чтобы и у насъ усиливалось и распространялось это вліяніе.

## Х.

Нужно сказать хоть нѣсколько словъ о томъ вредѣ, на который иногда жалуются, когда говорятъ о наставленіяхъ Толстаго. Въ сущности, если вникнемъ хорошенько въ дѣло, то окажется, что

---

\*) *Русское Обозрѣніе*. 1890, мартъ, стр. 387.

\*\*) См. Vogüé. *Le roman russe*, Par. 1886, стр. 279—340. Также мою книгу: *Критическія статьи объ И. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ*, изд. 2, Спб. 1887, стр. 458—484.

это только *обида* для жалующихся, а никакъ не вредъ. Въ самомъ дѣлѣ, какой же можетъ быть вредъ отъ проповѣди безкорыстія, воздержанія и любви къ ближнему? Но послѣдователи этой проповѣди часто круто измѣняютъ свой образъ жизни, и въ этой-то перемѣнѣ многіе видятъ большую бѣду. Иногда они описываютъ ее даже какъ-то трагически: „онъ начитался Толстаго, — говорятъ они, — и разрушилъ свою жизнь!“ Истинный смыслъ этой рѣчи такой: ему предстояла прекрасная жизнь, — та жизнь, которую мы сами ведемъ, — и онъ, безумный, отъ нея отказался. Онъ обижаетъ насъ, протестуя противъ этой жизни, показывая на дѣлѣ, что будто бы человѣкъ не можетъ найти въ ней полного удовлетворенія; но онъ дѣлаетъ худо только себѣ, потому что настоящее счастье можно найти только въ нашей жизни.

Да, конечно, мы недурно устроились; мы все приладили такъ, что безкорыстія у насъ нѣтъ и въ поминѣ, а напротивъ, каждый стремится захватить какъ можно большую долю всякой корысти, что вмѣсто воздержанія у насъ господствуетъ погоня за всевозможными наслажденіями, и что любовь къ ближнему вполнѣ замѣняется строгимъ полицейскимъ порядкомъ и благоустройствомъ. Но, живя такою жизнью, мы должны быть, по крайней мѣрѣ, снисходительны къ невиннымъ чудакамъ, которые не находятъ въ ней вкуса.

Л. Н. Толстой превосходно описалъ намъ нашу жизнь. Облонскіе, Вронскіе, Каренины—это цвѣтъ современнаго строя жизни, со всѣми его прелестями и бѣдами. Мы зачитывались, не понимая, что читаемъ осужденіе самимъ себѣ. Кажется, что можетъ быть дѣльнѣе Каренина, блистательнѣе Вронскаго, этихъ двухъ образчиковъ петербургскаго міра? Ихъ общественныя положенія принадлежатъ къ лучшимъ и высшимъ положеніямъ, составляютъ предметъ желаній для многихъ и многихъ. Но авторъ безпощадно разоблачилъ намъ образъ чувствъ и мыслей, который сложился въ этихъ людяхъ сообразно съ ихъ жизнью и занятіями, и мы почувствовали жалость и отвращеніе, или, по крайней мѣрѣ, должны были почувствовать. Припомните описаніе иностраннаго принца, который мелькомъ является въ романѣ и къ которому былъ на нѣсколько дней приставленъ Вронскій. „Главная причина, почему принцъ былъ особенно тяжель Вронскому, была та, что онъ невольно видѣлъ въ немъ самого себя. И то, что онъ видѣлъ въ этомъ зеркалѣ, не льстило его самолюбію. „Глухая говядина! неужели я такой?“ думалъ онъ“ (*Анна Каренина*, ч. 4. въ началѣ).

Между тѣмъ, душевный складъ Вронскаго имѣетъ еще не столько отталкивающихъ чертъ, какъ душевный складъ Каренина. Художникъ, вообще, изо-

бразиль весь этотъ міръ съ изумительною нравственною чуткостью. А насъ все пытаются увѣрить, что только въ этой жизни достигается истинное счастье и человѣческое достоинство, и что кто отъ нея отказывается, тотъ „разрушаетъ свою жизнь!“

Самый важный доводъ, который выставляется противъ послѣдователей Толстаго, состоитъ въ томъ, что они покидаютъ поприще, на которомъ могли бы принести пользу и удовольствіе обществу, и даже государству. Но вѣдь это — предположеніе очень сомнительное. Не вѣрнѣе ли предположить, что эти люди жили бы только въ свое удовольствіе, или же поступили бы въ толпу тѣхъ безчисленныхъ конкурентовъ, которыхъ главная цѣль—добиться большого жалованья и всякихъ отличій? Государство въ настоящее время, можно сказать, осаждено со всѣхъ сторонъ все больше и больше нарастающими толпами искателей его денегъ и ранговъ. Между ними идетъ горячее соперничество и, по несчастію, у насъ нѣтъ почти другихъ поприщъ, которыя отвлекали бы къ себѣ осаждающихъ. Какая же надобность усиливать собою ихъ число?

Очевидно, всѣ эти возраженія—однѣ отговорки. Главная причина, по которой раздражаются противъ Толстаго, состоитъ въ томъ, что онъ глубоко разошелся съ господствующими нравственными понятіями, что онъ противорѣчитъ своему вѣку

въ самыхъ внутреннихъ вопросахъ, всегда наиболѣе дорогихъ челоуѣку. Вы невольно это почувствуете, если послушаете всѣ порицанія и крики которымъ онъ подвергается во всемъ мірѣ. Странно даже представить, что въ концѣ девятнадцатаго вѣка нашлось столько враждующихъ, и горячо враждующихъ, противъ мирнаго писателя и мыслителя. Кажется, мы давно уже привыкли къ самымъ неистовымъ вольнодумствамъ и спокойно ихъ терпимъ; почему же мы вдругъ теряемъ всю нашу просвѣщенную терпимость и готовы почти воздвигнуть гоненіе на мысли и слова, выходящія изъ Ясной Поляны?

Можно подумать, что это писатель еще небывалой оригинальности, проповѣдующій что-то неслыханно - новое. Да, самобытности въ немъ не мало. Каждая строчка имѣетъ у него странную свѣжесть и новостъ, какъ будто такъ никто не говорилъ и не можетъ говорить, кромѣ него. Но слова его самыя обыкновенныя, и все содержаніе такъ просто, какъ ни у какого другаго писателя. Онъ часто описывалъ, какъ рождаются и умираютъ люди, самыя обыкновенные люди. Рассказывалъ также, какъ эти люди охотятся, поютъ, танцуютъ, скучаютъ на праздникахъ, косятъ сѣно, ходятъ въ церковь, исповѣдуются и т. д. Онъ рассказалъ недавно, какъ ревнивый мужъ убилъ жену,—случай

вовсе не рѣдкій и бывшій предметомъ безчисленныхъ разсказовъ во всѣхъ литературахъ. Но что бы онъ ни разсказывалъ, онъ на все бросаетъ такой яркій и чистый свѣтъ, что намъ кажется, будто мы въ первый разъ увидѣли и поняли самые обыкновенные предметы. Въ этомъ состоитъ самобытность этого художника.

Таковъ онъ и въ своихъ теперешнихъ правоченіяхъ. Они удивительны по своей прямотѣ, живости и искренности, такъ что съ большою силой пробуждаютъ любовь и пониманіе тѣхъ глубокихъ душевныхъ потребностей, которыя влекутъ человѣка „жить по Божью“. И намъ иногда кажется, какъ будто мы въ первый разъ услышали эти требованія. Но взгляните, и вы увидите въ основаніи этой проповѣди все ту же древнюю нравственность, найдете черты христіанскихъ наставленій, которыя натвержены намъ съ дѣтства, но которыя были мертвы въ нашей душѣ и вдругъ воскресли и получили свѣжесть и своеобразіе впервые сознанной истины.

1891, мартъ.

---



## Отвѣтъ на письмо неизвѣстнаго.

---

Не запрещайте; ибо кто не  
противъ васъ, тотъ за васъ  
*Лук. 9, 50.*

По поводу *Толковъ объ Л. Н. Толстомъ* мною получено письмо, никакимъ именемъ не подписанное, но поразившее меня и глубокою искренностію тона и существенностію вопросовъ, которыхъ оно касается. Много нынче говорящихъ о благѣ Россіи, о ея назначеніи, объ ея нуждахъ и обязанностяхъ; неизвѣстный авторъ привелъ меня въ удивленіе тѣмъ, что заговорилъ о себѣ, о потребностяхъ своего ума и сердца, т. е. о томъ предметѣ, о которомъ прежде всего и больше всего долженъ думать каждый человѣкъ, и отъ котораго зависитъ все остальное. Такое настроеніе мыслей мнѣ сочувственно въ высшей степени; это не «мѣдъ звенящая и кимвалъ бряцающій», а голосъ, въ которомъ отзывается душа говорящаго. Тѣмъ

болѣе мнѣ хотѣлось бы дать нѣкоторый отвѣтъ на строгое осужденіе моей статьи, произносимое этимъ голосомъ. Приведу здѣсь письмо неизвѣстнаго цѣликомъ, не выпуская ни слова, буду только прерывать его своими объясненіями.

«М. Г. Позвольте мнѣ, заурядному русскому читателю, просто и откровенно высказать вамъ свое впечатлѣніе отъ статьи вашей въ сентябрьской книжкѣ *Вопросовъ Философіи и Психологіи*. Прочитавъ этотъ восторженный папегирикъ Л. Н. Толстому отъ писателя, который всегда взвѣшиваетъ и цѣнить то, что говоритъ, которому нельзя не вѣрить, я почувствовалъ себя въ положеніи человѣка, когда отнимаютъ у него самое драгоценное и свѣтое его достояніе, безъ чего ему трудно и представить свое существованіе. «Боже мой,—неволью вырвалось у меня, — да что же такое, наконецъ, есть истина? Гдѣ она? Зачѣмъ существуетъ въ языкѣ это слово, когда понятіе, имъ обозначаемое, есть нѣчто въ высшей степени спорное и условное?»... Въ самомъ дѣлѣ, до сего времени мы, т. е. я, на ряду со всѣми, думали, вѣрили, что абсолютная истина находится въ Православной Каѳолической Церкви, которая есть единственная хранительница ея чистоты и неприкосновенности, и что, слѣдовательно, тамъ и слѣдуетъ искать удовлетворительныхъ отвѣтовъ

«на тревожные вопросы человѣческаго духа. Оказывается, что нѣтъ; такая вѣра въ церковь есть «результатъ» стараго невѣжества, духовной лѣности и суевѣрія. Насъ настойчиво и соблазнительно «приглашаютъ къ другимъ учителямъ, къ другимъ, «просвѣщеннѣйшимъ» авторитетамъ. За кѣмъ же «идти, кого слушать—Толстаго или церковь, имъ *«отвергаемую и хумную?»*»

Такова общая постановка дѣла, та мысль и то чувство, на основаніи которыхъ неизвѣстный осуждаетъ мою статью. «Гдѣ истина?» спрашиваетъ онъ, гдѣ «слѣдуетъ искать удовлетворительныхъ отвѣтовъ на тревожные вопросы человѣческаго духа?»—и упрекаетъ меня за то, что я будто бы приглашаю его покинуть авторитетъ церкви, составлявшій для него «самое драгоцѣнное и святое достояніе», и «настойчиво приглашаю» слѣдовать другому авторитету.

Понятно, съ какимъ чувствомъ произносятся столь важные упреки, а между тѣмъ моя статья ихъ вовсе не заслуживаетъ. Авторъ письма, очевидно, съ тревогою искалъ у меня отвѣта на вопросъ, который очень его занимаетъ, но котораго я вовсе не касаюсь. Именно, я ничуть не брался указывать, гдѣ истина; я ни слова не говорилъ ни объ авторитетѣ церкви, ни объ отношеніяхъ Л. Н. Толстаго къ этому авторитету; я не разби-

ралъ никакого положенія, никакого ученія и не предлагалъ слѣдовать тому или другому.

Отъ всего подобнаго я воздержался именно потому, что вполне понималъ важность этихъ вопросовъ, зналъ, какъ трудно объ нихъ говорить, и вовсе не хотѣлъ ихъ касаться. Если искать въ моей статьѣ какого нибудь положительнаго указанія, то можно увидѣть развѣ одно,—что нужно слѣдовать Христу; но и этого я прямо не говорю. Въ статьѣ моей нѣтъ никакихъ намековъ и подразумѣваній; цѣль и смыслъ ея совершенно просты и ясны. Мнѣ хотѣлось отчетливо показать истинную серіозность, чрезвычайную глубину религиознаго стремленія у Л. Н. Толстого; я старался объяснить, что въ основѣ этого стремленія лежатъ нравственныя требованія, что они присутствуютъ во всемъ, что онъ писалъ и дѣлалъ; я указывалъ на его горячія, неутомимыя исканія, на то, какъ эти исканія привели его къ Христу; наконецъ, я сопоставилъ это явленіе съ состояніемъ нашего общества, сбившагося со всѣхъ путей и страдающаго пустотою и нравственными уродливостями, и заключилъ, что поворотъ умовъ, произведенный Л. Н. Толстымъ, имѣетъ благотворное значеніе и дѣйствіе.

Таково содержаніе моей статьи. Если я тутъ что нибудь проповѣдывалъ, то, кажется, проповѣ-

дывалъ то, противъ чего никто не можетъ возра-  
зить. Нравственная чуткость и серьезность, пол-  
ная преданность требованіямъ совѣсти, исканіе  
истины всею душою, чтеніе и изученіе Писанія,  
пожертвованіе всякими низшими благами ради  
высшихъ,—вотъ чему я писалъ «панегирикъ», че-  
му «настойчиво приглашалъ слѣдовать». Т.-е. я  
собственно хвалилъ не какое-нибудь «слѣдованіе»,  
а лишь неустанную работу ума и совѣсти.

Авторъ письма замѣтилъ эту мою главную тему.  
Хотя сперва онъ приписалъ мнѣ вопросы, за кото-  
рые я не брался, но вслѣдъ за приведенными сло-  
вами онъ пишетъ:

«Говорятъ: ступайте къ самому источнику вѣры,  
къ Евангелію, читайте и просвѣщайтесь. Легко  
сказать: «читайте и просвѣщайтесь». Я очень хо-  
рошо знаю просвѣтительную силу Слова Божія,  
но знаю также и то, что умъ мой, сердце мое  
«загрязнены, нечисты, что въ нихъ, какъ въ не-  
опрятныхъ сосудахъ, Слово Божіе легко можетъ  
«замутиться, отразиться въ ненастоящемъ своемъ  
«видѣ и смыслѣ. Зная это, я и спрашиваю, къ  
«кому же идти,—къ Толстому, или къ матери Церк-  
«ви? Л. Н. Толстой отрицаетъ Церковь, признаетъ  
«лишь свою совѣсть, свой личный разумъ мѣри-  
«ломъ истины (это ли не раціонализм?), но слѣ-  
«довать за нимъ по этой дорогѣ положительно

«опасно, да и нельзя, потому что я не вѣрю ни въ чистоту своей совѣсти, ни въ непогрѣшимость «своего разума».

Вотъ постановка дѣла очень ясная, внушенная, очевидно, сердечнымъ пониманіемъ самаго существа дѣла. Дѣйствительно, главнѣйшій, глубочайшій нашъ вопросъ есть сознаніе нечистоты нашей совѣсти и погрѣшимости нашего ума. Если въ насъ живо это сознаніе, то мы чувствуемъ настоятельную надобность въ помощи, въ руководствѣ. Отсюда понятно, какой существенной потребности удовлетворяетъ авторитетъ церкви, какъ хранительницы истины, почему этотъ авторитетъ можетъ быть названъ „самымъ драгоцѣннымъ и святымъ достояніемъ“ человека.

Но на этихъ общихъ положеніяхъ нельзя же остановиться. На томъ основаніи, что совѣсть наша нечиста, а умъ погрѣшимъ, мы не должны и не можемъ вовсе отказываться отъ дѣйствія своей совѣсти и своего ума. Напротивъ, какъ скоро въ совѣсти и умѣ проснулось сознаніе ихъ недостаточности, они должны употреблять всѣ усилія довести это свое сознаніе до отчетливаго пониманія, а затѣмъ и бороться противъ этой недостаточности. Намъ слѣдуетъ не коснѣть въ чувствѣ своей слабости, а напротивъ, всѣми мѣрами возвышать чуткость нашей совѣсти и нашего разума. Только

въ такомъ случаѣ мы будемъ усердно искать руководства и помощи, и только въ такомъ случаѣ они могутъ быть намъ полезны. Хотя душа наша есть „загрязненный и неопрятный сосудъ“, но мы ничего не можемъ воспринять иначе, какъ этимъ сосудомъ. Если мы не будемъ заботиться объ его очищеніи, то загрязнится и исказится самое чистое содержаніе, которое будетъ въ него влито.

Но, кажется, намъ нужно взглянуть на нашу бѣду еще съ другой стороны. Мы дурны и жалки не потому, что указанія нашей совѣсти не всегда вѣрны, и что умъ нашъ легко впадаетъ въ погрѣшность, а больше всего потому, что мы не слѣдуемъ самымъ яснымъ указаніямъ совѣсти, и что мы не работаемъ своимъ умомъ. Совѣсть и умъ, если не спятъ въ насъ совершенно, то почти всегда только дремлютъ, а не бодрствуютъ. На качество нашей совѣсти и нашего ума часто мы не въ правѣ особенно жаловаться. Попробуйте спросить кого нибудь изъ насъ о его нравственныхъ понятіяхъ, и вы увидите, что почти всѣ мы недурно различаемъ добро отъ зла; не попробуйте испытать у насъ силу ума, и вы найдете многихъ, способныхъ ясно судить и понимать. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго: мы воспитаны въ христіанствѣ, мы растемъ на книгахъ, и съ дѣтства намъ доступны примѣры и наставленія древнихъ и новыхъ мудрецовъ, мыс-

лителей и великихъ писателей. И между тѣмъ, мы остаемся слабыми и дурными людьми. Наша совѣсть сознательно отступаетъ передъ малѣйшимъ соблазномъ и подается передъ самымъ легкимъ давленіемъ. Нашъ умъ грѣшитъ больше всего не тѣмъ, что ошибается, а тѣмъ, что обращенъ на потѣху нашего тщеславія, отворачивается отъ предметовъ важныхъ и глубокихъ, уклоняется отъ всякаго усилія, довольствуется словами и верхушками, не движется твердо, а только зыблется по вѣтру. Чрезвычайно рѣдко можно найти людей, которые искренно и усердно служатъ своей совѣсти и своему уму, — и это соль земли, спасающіе насъ праведники. Не мало, конечно, такихъ, у которыхъ совѣсть и умъ искажены, но первый признакъ этихъ людей тотъ, что они служатъ какимъ нибудь другимъ богамъ. Обыкновенное же явленіе то, что люди обладаютъ и довольно чистою совѣстью, и довольно свѣтлымъ умомъ, слѣдовательно, вполне могли бы быть добрыми и правомыслящими, а между тѣмъ не имѣютъ ни истинной доброты, ни правильныхъ взглядовъ, и только развѣ иной близкій знакомый знаетъ, что *въ душѣ* они вовсе не безсовѣстные и пустые люди. Недостатокъ серіозности въ душахъ—вотъ самое обыкновенное зло. Жизнь становится теперь все легче и легче, и, можетъ быть, потому падаетъ



въ насъ душевная энергія, съуживаются и мельчаютъ наши радости и горести, уменьшаются размѣры всякаго напряженія. Вотъ въ какомъ отношеніи въ Л. Н. Толстомъ, мнѣ кажется, можно видѣть великій и поучительный примѣръ; онъ образецъ истинной серіозности въ дѣлахъ ума и совѣсти. Для него стали важнѣйшимъ дѣломъ жизни тѣ „тревожные вопросы человѣческаго духа“, о которыхъ говоритъ авторъ письма и которые другихъ тревожатъ такъ слабо, что не имѣютъ никакого значенія въ ихъ дѣятельности. Вотъ чему я „настойчиво приглашаю слѣдовать“, если можно такъ истолковать чисто аналитическій тонъ моей статьи. Постоянная работа, неустанный трудъ ума и совѣсти, — таково условіе, безъ котораго намъ будетъ бесполезна всякая помощь и руководство, и при которомъ мы непременно выйдемъ на правильный путь. Рационализма я не проповѣдывалъ; напротивъ, я сказалъ, что онъ невозможенъ. Но всегда нужно опасаться, какъ бы мы, отрицая безусловный рационализмъ, не вздумали при этомъ отказываться отъ своего ума и своей совѣсти.

Письмо продолжается такъ:

„Я не вѣрю ни въ чистоту своей совѣсти, ни въ непогрѣшимость своего разума. Положеніе, какъ видите, было бы весьма серіозное и траги-

„ческое, если бы я имѣлъ несчастіе оторваться  
„отъ народа, какъ большинство нашей интелли-  
„генціи. Вы указываете на народность идей графа  
„Толстаго, на чистый источникъ, откуда почерп-  
„нуто имъ его настоящее міросозерцаніе; но смѣю  
„увѣрить васъ, да вы и сами это знаете, что  
„между религіозными мнѣніями автора *Исповѣди*  
„и *Въ чемъ моя вѣра* и нашимъ „народнымъ ду-  
„хомъ“ и народными идеалами—цѣлая непрохо-  
„димая бездна“.

Какъ видятъ читатели, здѣсь противъ меня вы-  
ставлены только голословныя утвержденія, а по-  
тому и отвѣчать я могу голословно. Статья моя  
настаивала на сходствѣ воззрѣній Л. Н. Толстаго  
съ народными воззрѣніями; авторъ письма настаи-  
ваетъ на ихъ различіи. Но вѣдь тутъ нѣтъ еще  
противорѣчія, ибо великое различіе въ одномъ от-  
ношеніи не мѣшаетъ великому сходству въ дру-  
гомъ отношеніи. Различія я не скрывалъ; напро-  
тивъ, доказывалъ, что мы всѣ въ этомъ случаѣ не  
можемъ достигнуть полного тождества. Это нужно  
всегда помнить, а также и то, что, какъ скоро  
намъ открылось внутреннее глубокое сходство,  
всякія разницы уже не могутъ имѣть первосте-  
пеннаго значенія. Очевидно, тутъ все зависитъ  
отъ нашего взгляда на самое существо дѣла. Въ  
этомъ отношеніи, я убѣдился, что у насъ господ-

ствуютъ чрезвычайно смутныя и неправильныя понятія, и, къ великому сожалѣнію, почти вовсе нѣтъ попытокъ разъясненія и исправленія этихъ понятій, а существуетъ въ избытѣ только вражда и пререканія. Почти нельзя говорить, потому что не на что опереться, нѣтъ въ умахъ ни одной вполне твердой и ясной точки. Приходится мнѣ здѣсь лишь голословно повторить, что, усердно и долго вникая въ эти вопросы, я не могу думать иначе, чѣмъ думаю, т. е., что есть величайшее и коренное сродство между народными воззрѣніями и настроеніемъ Л. Н. Толстаго. Эти слова, разумѣется, немного значатъ, если не связать съ ними опредѣленнаго значенія. Но, по неволѣ, вся моя статья наполнена подобнымъ общими темами и указаніями, требующими подробнаго развитія. Мнѣ очень жаль, что авторъ письма остановился только на одной изъ этихъ темъ, и то лишь для того, чтобы голословно ее отрицать.

Письмо оканчивается слѣдующимъ образомъ:

„Л. Н. Толстой—великій, сильный умъ, геніальный художникъ (кто же когда это отрицал?), „но умъ, безспорно, заблуждающійся, а потому „одно сантиментальное поклоненіе его таланту „болѣе, чѣмъ неумѣстно,—оно преступно. Людямъ, „для которыхъ истина дороже всякаго земного „кумира, слѣдовало бы, вмѣсто куренія оиміама,

„отъ котораго Толстому и такъ нездоровится, не-  
„престанно ему указывать, что путь, на которомъ  
„онъ стоитъ и на который увлекаетъ другихъ,—  
„путь погибельный. Это было бы лучшимъ спосо-  
„бомъ выраженія къ нему любви и уваженія, какъ  
„къ великому русскому писателю и великому рус-  
„скому человѣку“.

„Одинъ изъ смертныхъ“.

Очевидно, это очень искренній патетическій тонъ, и я не могу не сожалѣть, что возбудилъ такое негодованіе. Но прошу пожалѣть и меня. Почему же не обращено вниманія ни на одно мое разсужденіе, ни на единую связь моихъ мыслей? Какъ писать, когда вся точность выраженій, вся строгость и сдержанность выводовъ исчезаетъ передъ глазами читателя, и онъ видитъ только «восторженный панегирикъ», «сентиментальное поклоненіе», «куреніе оиміама»? Прошу извиненія; можетъ быть, въ моей статьѣ очень слабы тѣ качества, на которыя я указалъ; но я очень старался достигнуть этихъ качествъ, и мнѣ грустно, что и эти старанія остаются незамѣченными.

Кто-то мнѣ сказалъ, что мои *Толки* есть только «адвокатская рѣчь». Пусть и такъ, но, надѣюсь, не въ смыслъ всякой лжи и натяжекъ, какими ославили себя адвокаты, а лишь въ томъ смыслѣ,

что у меня берется только одна сторона дѣла. Дѣйствительно, я пытался опредѣленно указать *положительныя* стороны явленія, которое всѣхъ занимаетъ. Но вѣдь эти стороны—самыя важныя и для пониманія предмета, и для практическаго къ нему отношенія. Совершенно напрасно мы вѣчно спрашиваемъ объ одномъ: *кому слѣдовать?* Требуется, напротивъ, знать, *въ чемъ* мы обязаны слѣдовать каждому, кому бы то ни было? Порицать Толстаго — дѣло почти вовсе безплодное; нужно, напротивъ, имъ пользоваться, нужно уловлять для себя огонь и свѣтъ, которыми передъ нами горитъ эта душа.

16 дек. 1891 г.

---



## Справедливость, милосердіе и святость.

---

Теперь много говорятъ и пишутъ о благотворительности, и вообще о нравственности. Это превосходно; совершился какой-то поворотъ умовъ въ эту сторону, и дай Богъ, чтобы онъ никогда не останавливался и не ослабѣвалъ. Но еще лучше то, что люди теперь не только разсуждаютъ о добрѣ, а и дѣлаютъ добро. Нельзя безъ радости подумать о безчисленныхъ благодѣяніяхъ, поприщемъ которыхъ была въ нынѣшнюю зиму Россія. Мы знаемъ объ нихъ только очень смутно, очень отрывочно; но, какъ говорится, „въ воздухѣ носится“ то чувство великодушія, тотъ порывъ любви къ ближнему, которому отдалось множество частныхъ людей и здѣсь, и особенно тамъ, на мѣстахъ бѣдствія. Для душъ, жаждавшихъ дѣятельности, для сердецъ, томившихся житейскою тоскою, открылся прямой и свѣтлый выходъ, и они, жертвуя своимъ имуществомъ, временемъ и си-

лами, почувствовали въ себѣ полноту жизни и просвѣтлѣли духомъ.

Среди этихъ отрадныхъ явленій показались, конечно, и разныя темныя черты. Одна изъ нихъ, по моему, очень печальная, есть та путаница понятій, которая замѣтна въ нынѣшнихъ безчисленныхъ толкахъ и спорахъ о нравственныхъ вопросахъ. Такъ какъ мы христіане, то, какъ бы мы ни блуждали нашими мыслями, какъ бы дурно ни жили, мы никогда не можемъ вовсе потерять чувство истиннаго идеала человѣческой жизни. Но мы обыкновенно ничуть не заботимся о томъ, чтобы привести въ ясность свои понятія объ этомъ идеалѣ; и тутъ, какъ всегда, мы больше любимъ говорить и дѣйствовать, чѣмъ думать. Между тѣмъ, если что не крѣпко у насъ въ умѣ, то не будетъ исполнѣ крѣпко и въ жизни; если мы не видимъ своихъ путей, то будемъ вѣчно съ нихъ сбиваться и понапрасну тратить силы; наконецъ, мы заводимъ ссоры и всякую злобу, если не умѣемъ понимать того, чтó дѣлають другіе.

## I.

### Три ступени.

Прежде всего нужно ясно и точно различать тѣ *ступени*, по которымъ мы можемъ и должны под-



ниматься къ нравственному совершенству. И въ нравственности, какъ и во всемъ на свѣтѣ, нужно разбирать, что важнѣе и существеннѣе, что ниже и что выше. Главныхъ ступеней въ нравственной дѣятельности три: справедливость, милосердіе и святость. Это давно извѣстно, объ этомъ безъ конца писано и думано, но мы постоянно успѣваемъ забывать объ этомъ и выбираемъ себѣ правила по своимъ личнымъ вкусамъ. Во первыхъ, мы должны соблюдать во всѣхъ нашихъ дѣлахъ *справедливость*, т. е. никого не обманывать, никому не вредить, ничѣмъ не нарушать чужихъ правъ и интересовъ, а всегда и вездѣ отдавать *каждому свое*. Если кто неизмѣнно и твердо держится такого поведенія, то мы называемъ его *честнымъ* человѣкомъ, на котораго можно положиться во всѣхъ дѣлахъ и отъ котораго нельзя ожидать никакого зла. Но это лишь первая ступень нравственной жизни. Совѣсть больше или меньше подсказываетъ каждому изъ насъ, что слѣдуетъ подыматься выше. Вторая ступень есть *милосердіе*, любовь къ ближнимъ. Мало того, чтобы никому не вредить, нужно всѣмъ помогать. Мало того, чтобы быть честнымъ, нужно быть *добрымъ*. Когда человѣкъ полюбитъ такое душевное настроеніе и такую дѣятельность, то онъ во всякомъ дѣлѣ будетъ думать не о своей пользѣ,

а о пользѣ другихъ, онъ захочетъ, наконецъ, всего себя, всю свою жизнь отдать на служеніе ближнимъ. Обыкновенно это и считаютъ высшимъ идеаломъ нравственности. Но есть еще ступень, и ступень несомнительная, открывающаяся яснѣе или темнѣе каждой христіанской душѣ. Мало быть честнымъ, мало быть добрымъ, нужно быть чистымъ, нужно быть *святымъ*. Тутъ, и только тутъ—конецъ всякаго совершенствованія, тутъ—исполненіе высокой заповѣди: *будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ небесный*. Побороть въ себѣ грѣхъ, откинуть то безпокойство, тотъ стыдъ, то рабство и мученіе, въ которомъ мы живемъ, всю эту внутреннюю (а не одну внѣшнюю) бѣдственную нашу жизнь--вотъ къ чему стремится тотъ, кто ищетъ святости, чему онъ учитъ честныхъ и добрыхъ людей и чѣмъ уерѣпляетъ въ нихъ ихъ честность и доброту.

Но не будемъ забѣгать впередъ. Сперва сдѣлаемъ замѣчаніе, что эти три ступени суть ступени совершенно *твердыя*, т. е. такія, что на какой бы изъ нихъ человѣкъ ни находился, онъ можетъ на ней спокойно жить и дѣйствовать, хотя бы не былъ способенъ подняться на высшую ступень. Это значитъ, что каждая изъ нихъ имѣетъ свой строгій принципъ, изъ котораго послѣдовательно вытекаютъ правила, обнимающая всѣ житейскія

отношенія. Такимъ образомъ, люди стоящіе на разныхъ ступеняхъ какъ будто смотрятъ на жизнь съ разныхъ точекъ зрѣнія, и отъ этого происходитъ, что не только большею частію они довольствуются своею ступенью и упорно стоятъ за нее, но даже начинаютъ враждовать съ тѣми, кто стоитъ на другихъ ступеняхъ.

## II.

### Справедливость.

Принципъ справедливости есть *право*. Поступать справедливо значить совершать только такія дѣйствія, на которыя я имѣю право. А право я имѣю дѣлать все, въ чемъ мое благо не противорѣчитъ благу другихъ людей. Въ этихъ границахъ я свободенъ, и каждый имѣетъ право на такую свободу. Это не значить, чтобы мы какънибудь уже раждались съ этими правами. Нѣтъ, очевидно, эти права—плодъ человѣческаго разума, плодъ долгой исторіи. Теперь мы за каждымъ человѣкомъ признаемъ достоинство личности, признаемъ, такъ сказать, законность каждаго эгоизма, и требуемъ только, чтобы всѣ эгоизмы уравнивались, не мѣшали другъ другу. Ибо таково самое простое и самое общее разрѣшеніе задачи мирнаго сожительства людей. А для того, чтобы

этотъ порядокъ соблюдался, мы устроили государство, котораго первая и неотложная обязанность есть именно огражденіе правъ каждаго лица, устраненіе всякой несправедливости. Конечно, государство можетъ дѣйствовать только внѣшнимъ образомъ, только *силою*, а потому оно и ограничиваетъ свои дѣйствія лишь тѣмъ, что можетъ быть вынуждено, то есть ограждаетъ только наши внѣшнія права и устраняетъ только нашу внѣшнюю несправедливость. Но все-таки, энергіи частныхъ эгоизмовъ открывается огромный просторъ, и жизнь новыхъ государствъ кипитъ съ такою силою, какой до сихъ поръ еще не видала исторія.

Напрасно, однако же, нѣкоторые мрачные люди думаютъ, что только полиція мѣшаетъ намъ грабить и убивать другъ друга, что общество держится въ порядкѣ только страхомъ насилія и наказанія. Напротивъ, юридическій порядокъ главнымъ образомъ сохраняется тѣмъ нравственнымъ началомъ, которое въ немъ есть. Намъ всегда пріятно думать, что своими дѣйствіями мы никого не обижаемъ, что мы въ правѣ поступать, какъ поступаемъ. Мы сознательно и заботливо избѣгаемъ всякой несправедливости, почему и выходитъ, что наши дѣла и сношенія почти исключительно основаны на одномъ взаимномъ довѣріи. Честность есть требованіе столь простое, понятное и легко

исполнимое, что мы очень стыдимся нарушать его, и чужая несправедливосъ возбуждаетъ въ насъ гораздо больше негодованія, чѣмъ какой нибудь злобный или грѣшный поступокъ. Поэтому, государство со своими юридическими формами есть истинная школа первоначальной нравственности— оно учитъ различать свое и чужое право. Поэтому, мы хорошо дѣлаемъ, когда не только уважаемъ права другихъ, но и отстаиваемъ свое собственное право. Если мы отступаемся отъ него сознательно, приносимъ его въ жертву чему нибудь высшему, то, конечно, это недурно; но если пренебрегаемъ своимъ правомъ по одной лѣни или слабости, то мы прямо вредимъ юридическому строю общества.

Свободно и легко мы двигаемся въ этомъ твердомъ строѣ; каждый живетъ какъ хочетъ и какъ умѣетъ. Инымъ даже скучно становится отъ этой легкости и свободы, и они ищутъ для себя какой-нибудь лямки, какого-нибудь ярма, чтобы наполнить свою жизнь. Другіе распоряжаются собою такъ усиленно и такъ дурно, что быстро истрачиваютъ свою жизнь и доходятъ до сумасшествія и до самоубійства. Но во всякомъ случаѣ, едва ли можно повѣрить, чтобы при другомъ порядкѣ, напримѣръ, при такомъ, о которомъ мечталъ Фурье, а за нимъ Чернышевскій, получилось бы у людей больше труда и удовольствія, чѣмъ теперь, когда

каждый съ утра до вечера только и думаетъ, только и хлопочетъ о своей выгодѣ и своей забавѣ.

### III.

#### Милосердіе.

Между тѣмъ, юридическій порядокъ, какъ всѣ мы знаемъ, еще не ручается намъ за добрыя отношенія между людьми и не устраняетъ злыхъ отношеній. Люди находятъ тысячи средствъ и путей, чтобы, оставаясь въ предѣлахъ закона, дѣлать зло другъ другу, обижать, угнетать, доводить до отчаянія и гибели. Вообще, каждая свободная сдѣлка, каждый добровольный обмѣнъ, даже каждый разговоръ, можетъ быть или взаимною услугою, или же взаимною борьбою. А въ борьбѣ слабый можетъ пострадать отъ своей слабости, а сильный злоупотребить своею силою; вотъ отчего, понемногу и незамѣтно, безъ всякаго нарушенія права, слабые часто бываютъ совершенно задавлены, а сильные все растутъ и растутъ въ своей силѣ. Законъ тутъ не можетъ ничему помочь, потому что онъ можетъ только устранять всякую внѣшнюю насильственность борьбы, но не можетъ предписать внутренняго согласія Законъ, вообще, не предписываетъ того, исполненіе чего онъ не можетъ вынудить; слѣдовательно, онъ не имѣетъ ни-

какой власти надъ нашими чувствами и нашими мыслями, а слѣдовательно, безсиленъ и относительно того зла и добра, которое зависитъ отъ нашихъ чувствъ и мыслей. Но въ самомъ внутреннемъ мірѣ человѣка, недоступномъ закону и насилію, есть другое начало, которому человѣкъ можетъ только свободно подчиняться и которое одно только способно уничтожать противорѣчія нашихъ правъ и обращать борьбу эгоизмовъ въ содѣйствіе и согласіе. Это начало—доброта сердца, милосердіе, любовь къ ближнимъ.

Легко видѣть, что это дѣйствительно новая и особенная ступень нашей нравственности. Всѣ истинно добрые люди, конечно, въ тоже время и честные люди; но не наоборотъ: многіе честные люди не бываютъ добрыми. Изъ этого различія выходятъ противорѣчія, а изъ противорѣчій даже противодѣйствіе и вражда. Любящій ближняго часто не цѣнитъ и не соблюдаетъ своихъ правъ, не прибѣгаетъ къ юридическому принужденію, свое имущество считаетъ собственностью бѣдныхъ, свои силы и труды тратитъ на другихъ безъ всякаго вознагражденія. Ибо любовь все терпитъ, все прощаетъ и *своего не ищетъ*, какъ говоритъ апостоль. Если бы всѣ были любящіе, то государственный строй потерялъ бы свою главную надобность, и естественно, что любящіе становятся рав-

нодушными къ этому строю. Для себя они, конечно, правы, но не для другихъ. Если бы благодѣянія совершались только между любящими другъ друга, то, дѣйствительно, всякія юридическія формы были бы лишнія. Но обыкновенно люди, преданные дѣламъ любви, стоятъ на одной ступени нравственности, а тѣ, кому они благотворятъ, на другой, низшей. Благотворитель дѣйствуетъ такъ, какъ будто нуждающіеся стоятъ съ нимъ наравнѣ; но этимъ онъ часто успѣваетъ только сбить ихъ съ той твердой ступени, на которой они стояли. Извѣстно, что благодѣянія портятъ людей, дѣлаютъ изъ нихъ тунеядцевъ и попрошайекъ, къ великому огорченію благотворителей. Поэтому государство вынуждено даже ограничивать и регулировать практику благотвореній. Оно справедливо находитъ, что его собственный порядокъ крѣпче, надежнѣе, потому что больше соотвѣтствуетъ общему уровню человѣческой нравственности.

Какъ бы то ни было, но нѣтъ сомнѣнія, что взаимная любовь, взаимное милосердіе, жизнь для другихъ, а не для себя есть единственное средство устранять всякое зло, возникающее отъ людскихъ отношеній и облегчать всякое страданіе, причиняемое намъ вышней природою. Для *земной жизни* это идеаль, не замѣнимый никакими дру-



гими идеалами. Многихъ онъ плѣняетъ не какъ зрѣлище нравственной красоты, а какъ картина возможнаго благополучія, и они ждутъ въ грядущихъ вѣкахъ осуществленія такого *земного рая*, и считаютъ долгомъ, чѣмъ только могутъ, содѣйствовать его приближенію, хотятъ быть не просто добрыми людьми, а благодѣтелями человѣчества. Это прекрасныя намѣренія, прекрасныя мечтанія, но странно, что не всегда замѣчаютъ недостижимость той послѣдней цѣли, къ которой они направлены. Бѣдственность человѣческаго существованія такова, что устранить ее ничто не можетъ. Мы всегда носимъ въ себѣ внутренняго врага, наши желанія, которыя вѣчно обновляются, постоянно не даютъ намъ успокоиться и часто поглощаютъ всю нашу душу. И у насъ есть внѣшній врагъ, неодолимый и неизбѣжный—смерть. Если бы всѣ люди были проникнуты братскою любовью другъ къ другу, то страданія человѣческія вѣроятно не уменьшились бы, а увеличились. Теперь, когда мы живемъ эгоистами, чужія бѣдствія и мученія для насъ ничего не значатъ, и мы спокойно смотримъ, какъ смерть вокругъ насъ „коситъ жатву жизни“. Но, если бы мы чувствовали состраданіе къ несчастнымъ, если бы истинно любили умирающихъ, то насъ не должна бы была никогда оставлять печальная и горькая дума.

Слезы людскія, о слезы людскія,  
Льетесь вы ранней и поздней порой,  
Льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя,  
Неистощимыя, неисчислимыя,  
Льетесь, какъ льются сѣруи дождевыя  
Въ осень глухую порою ночной.

Это не гипербола сострадательнаго поэта, это чистая истина. А чѣмъ можетъ быть утѣшенъ человѣкъ въ потерѣ близкихъ, дорогихъ людей? Эти утраты невознаградимы и неизгладимы. Тутъ можно прямо сказать, что кто больше любитъ, тотъ больше и страдаетъ. Между тѣмъ, смерть не только не возвращаетъ тѣхъ, кого взяла, но и грозитъ каждому изъ живущихъ съ нами. И слѣдовательно, кто больше любитъ, тотъ подъ бѣлымъ страхомъ и живетъ. Пушкинъ, вспоминая объ умершихъ друзьяхъ, говоритъ:

И смерти духъ средь насъ ходилъ  
И назначалъ свои закланья.

Этотъ „духъ смерти“ ходитъ среди насъ постоянно, онъ непремѣнный гость всѣхъ нашихъ собраний, и пировъ, и похоронъ, и онъ не перестаетъ «назначать свои закланья». Если такъ, то когда же возможна для любящаго спокойная радость, даже если онъ забудетъ, что его самого ждетъ неизбѣжная болѣзнь и смерть?

## IV.

## Святость.

И такъ, любви къ людямъ еще недостаточно, ни для того, чтобы самому достигнуть покоя и свѣта, ни для того, чтобы содѣйствовать истинному благополучію другихъ. Нужно опять усилить наши требованія, нужно подняться на новую ступень нравственности. *Святость* именно въ томъ и состоитъ, что человѣкъ становится выше своихъ желаній, своей природы, и выше смерти и всякаго страданія. Это полная чистота души и полная преданность волѣ Божіей. Когда у человѣка нѣтъ своихъ желаній, нѣтъ заботы и страха, онъ смотритъ на все, какъ безплотный духъ, онъ стоитъ на точкѣ зрѣнія *вѣчности*; тогда онъ какъ будто «вновь родится», и въ душѣ его открываются источники лучшей жизни, исполнѣ чистыхъ чувствъ и силъ. Болѣзнь, страданіе и смерть составляютъ для такого человѣка только поводъ и побужденіе подняться въ область святости, отрѣшиться отъ себя и отъ міра. Ищущіе святости часто съ радостію встрѣчаютъ эти поводы, и даже ищутъ всякихъ лишеній, чтобы воспитывать въ себѣ духъ чистоты.

Животныя счастливыѣ насъ потому, что они

живутъ минутою, что для нихъ не существуетъ прошедшаго и будущаго, и если мы иногда радостно проводимъ нашу обыкновенную жизнь, то только потому, что очень способны *забываться*, терять изъ виду все, что впереди и позади текущаго дня. Но изнанка жизни безпрестанно раскрывается передъ нами и прерываетъ наши радости и забавы. Когда поэтъ усиѣваетъ

Ударить по сердцамъ съ невѣдомою силою,

то онъ вѣдь только будить въ насъ то чувство бѣдственности и тоски, которое таится въ сердцахъ каждаго, и мы очень любимъ такихъ поэтовъ. Представимъ же, что мы вздумали вести себя съ полнымъ сознаніемъ, то есть истинно по человѣчески, не забывая прошлаго и не закрывая глазъ на будущее; тогда намъ останется только одинъ выходъ—искать настроенія святости, смотрѣть на все съ точки зрѣнія вѣчности и говорить себѣ вмѣстѣ съ святою Терезой: «ничѣмъ не смущайся и ничего не бойся: все проходитъ, Богъ остается неизмѣннымъ».

Святость обыкновенно извѣстна намъ только по слуху. Многіе вовсе не вѣрятъ въ ея существованіе, считаютъ ее невозможной, и самое исканіе святости признаютъ чѣмъ-то нелѣпымъ и вреднымъ. Бѣда тутъ въ томъ, что не только каждый,

по давнишнему замѣчанію, бываетъ доволенъ своимъ умомъ, но каждый вступаетъ и за свои нравственныя понятія и обижается, когда ему покажутъ, что тѣ правила, по которымъ онъ живетъ, не самыя лучшія. Въ этомъ отношеніи мы бываемъ очень наивны. Человѣкъ, сотрудничающій въ журналахъ, или ежедневно ходящій въ лавку или въ департаментъ, бываетъ претвердо увѣренъ, что онъ приноситъ пользу человѣчеству, и что вполне стоитъ тѣхъ денегъ, которыя получаетъ. Между тѣмъ, это еще очень сомнительно; мы всѣ пользуемся тѣмъ порядкомъ, движеніемъ, осмысленнымъ складомъ отношеній, которые созданы не нами, усиліями не нашего ума и не нашей воли, и мы со своей стороны часто вносимъ сюда только безмысліе и только портимъ дѣло. Если ужъ рѣчь пошла о благѣ человѣчества, то дай Богъ всякому быть увѣреннымъ лишь въ томъ, что онъ былъ безвреденъ, что ничего не напортилъ, не потребилъ больше человѣческихъ силъ и трудовъ, чѣмъ сколько самъ принесъ. Монахъ, живущій подаяніемъ, отрекшійся отъ всякихъ общественныхъ связей и убѣгающій въ пустыню, съ одной стороны, конечно, дерзокъ, заявляя себя прямо искателемъ святости, но, съ другой стороны, онъ скромнѣе и можетъ, по крайшей мѣрѣ, навѣрно считать себя безвреднымъ.

Нигдѣ понятія о святости не имѣютъ такой твердости и ясности, какъ въ нашемъ простомъ народѣ. У этого *темнаго* народа только одинъ этотъ свѣтъ и есть, за то такой свѣтъ, передъ которымъ ничто все наше просвѣщеніе. Въ „Власти тьмы“ есть несравненно-геніальная сцена, въ которой учителемъ святости является безобразно-пьяный солдатъ *Митричъ*. Онъ учитъ Никиту *не бояться людей*, и тогда тотъ идетъ каяться передъ всѣмъ народомъ и добровольно принять наказаніе. Если человѣкъ не станетъ бояться людей, то онъ будетъ всегда и вездѣ свободенъ и спокоенъ, потому что будетъ бояться только Бога, только своей совѣсти. Тутъ удивительно показано, какъ высокій нравственный идеалъ проникаетъ собою все міро-созерцаніе простыхъ людей и вдругъ, среди зла и тьмы, неотразимо дѣйствуетъ на ихъ души.

И намъ слѣдовало бы также твердо хранить въ себѣ этотъ свѣтъ и постоянно къ нему обращаться. Дѣло въ томъ, что къ святости, какъ къ завершенію всякой нравственности, направляются всѣ тѣ дѣйствія, которыя можно назвать нравственными, и лишь она одна можетъ дать имъ исполнѣ этотъ смыслъ и характеръ. Наша честность и наша доброта очень мало значать, если онѣ не исполняются въ духѣ святости. Есть вѣдь честность отвратительная, основанная на томъ, что быть

честнымъ выгоднѣе, чѣмъ плутовать; есть и доброта негодная, основанная на себялюбивой мысли о томъ, какъ мы добродѣтельны. Нужно быть чистыми въ своей душѣ,—тогда мы дѣйствительно и непремѣнно станемъ нравственными въ своихъ дѣйствіяхъ.

3 апр. 1892.

---





## Теорія благополучія.

---

*Подводный камень*, романъ М. В. Авдѣева. Спб. 1863.

*Межъ двухъ огней*, романъ въ трехъ частяхъ. М. В. Авдѣева. Спб. 1869.

*Магдалина*, повѣсть М. В. Авдѣева. «Дѣло» 1869 г. № 1.

---

Подробно анализировать произведенія г. Авдѣева было бы дѣломъ небезполезнымъ и даже поучительнымъ,—хотя, конечно, по своему художественному достоинству, эти произведенія вовсе не имѣютъ правъ на большое вниманіе. Г. Авдѣевъ принадлежитъ къ числу *подражателей*, въ самомъ грубомъ смыслѣ этого слова. Онъ копируетъ чужіе приемы, чужія мысли и настроенія; онъ не развиваетъ ихъ, не вдохновляется ими, а только подѣлывается. Такъ сперва онъ подражалъ Лермонтову и въ своемъ „Тамаринѣ“ рабски скопировалъ „Героя нашего времени“; потомъ онъ сталъ подражать Тургеневу въ своей манерѣ, а въ содержаніи сталъ копировать жоржъ-зандовскія и нныя мысли о правахъ любви вообще и женщинъ въ особенности. Къ этому послѣднему и

наиболѣе славному періоду дѣятельности г. Авдѣева принадлежать три произведенія, заглавія которыхъ нами выписаны выше.

Интересъ, который имѣютъ для критики подражанія этого рода, заключается главнымъ образомъ въ *искаженіи*, которому при этомъ подвергаются мысли и взгляды, составляющіе предметъ подражанія. Подражатели почти всегда портятъ дѣло своихъ образцовъ; они особенно жадно усвоиваютъ себѣ ихъ слабыя стороны; они опошляютъ ту идею, которую берутся защищать; они низводятъ ее до ого уровня, на которомъ стоятъ сами. Поэтому, если мы хотимъ видѣть пошлыя и слабыя стороны идеи, то мы должны обратиться къ подражателямъ; видѣть же эти стороны любопытно не только потому, что именно онѣ прививаются къ массѣ, именно онѣ господствуютъ въ большинствѣ исповѣдниковъ идеи, но и потому, что онѣ обличаютъ природу самой идеи. Малѣйшее зерно лжи, лежащее въ идеѣ, разрастается въ массѣ послѣдователей цѣлымъ деревомъ заблужденій, и потому можетъ быть ясно указано и обозначено.

И такъ, мы не будемъ разбирать произведеній г. Авдѣева съ тѣхъ многообразныхъ точекъ зрѣнія, которыя допускаетъ разборъ истинно-художественныхъ произведеній, дѣйствительно озаряющихъ намъ жизнь. Мы прямо возьмемъ тѣ идеи

подъ которыя г. Авдѣевъ поддѣлывается, и укажемъ тѣ искаженія этихъ идей, памятникъ и образецъ которыхъ составляютъ его произведенія. Натура писателя всегда беретъ свое, и, сколько онъ ни поддѣлывайся подъ высокія стремленія, скажется наконецъ во всей правдѣ.

Давно уже существуетъ и проповѣдывается тотъ односторонній взглядъ, по которому цѣль чловѣка есть счастливая жизнь, а верховное правило дѣятельности есть способствованіе счастливой жизни людей, стремленіе къ благополучію рода чловѣческаго. Мнѣнія эти очень распространены, такъ какъ они составляютъ самое простое и наивное выраженіе той жажды къ наслажденію жизнью и того состраданія къ бѣдствіямъ себѣ подобныхъ, которыя свойственны всѣмъ живымъ существамъ. Но противъ этихъ началъ всегда такъ или иначе протестовала чловѣческая природа. Чловѣкъ всегда стремился стать выше страданія и радости, выше того, чтò случайно могло быть ему дано, или отъ него взято. Люди всю жизнь свою страдавшіе, и слѣдовательно, по теоріи благополучія, не достигшіе цѣли чловѣческой жизни, составляютъ, однако, въ многихъ случаяхъ предметъ нашего глубокаго уваженія и удивленія. Напротивъ, счастливыхъ мы мало любимъ и почитаемъ. Чловѣкъ благополучно прожившій всю свою жизнь—часто

до конца остается ребенкомъ, существомъ легко-мысленнымъ и невѣдающимъ истинной цѣны жизни. Только въ несчастіяхъ испытывается и образуется воля, развивается серіозная мысль, созрѣваетъ настоящее благородство характера. Однимъ словомъ—*быть человекомъ*, вотъ главная цѣль жизни; страданія скорѣе способствуютъ, чѣмъ мѣшаютъ достиженію этой цѣли; напротивъ, благополучіе очень часто бываетъ для нея помѣхою.

Очень любопытны въ отношеніи къ предмету, о которомъ мы заговорили, разсужденія Джона Стюарта Милля, находящіяся въ концѣ его *Логикъ*. По всему складу своего ума онъ необходимо долженъ былъ держаться теоріи благополучія и высказалъ это совершенно прямо и ясно.

„Не пытайтесь“ — говоритъ онъ — „въ этомъ мѣстѣ оправдать мое мнѣніе, или даже опредѣлить допускаемый имъ способъ оправданія, я просто *заявляю свое убѣжденіе*, что общій принципъ, съ которымъ должны бы были сообразоваться всѣ правила практики, и повѣрка, которую они должны бы выдерживать, есть принципъ *способствованія счастью человечества, или, скорѣе, всѣхъ чувствующихихъ существъ*“.

Тотчасъ же, однако, ему представилось возраженіе, указывающее, что его принципъ не обнимаетъ всей сферы нравственной дѣятельности.

„Есть“ — замѣчаетъ онъ — „многія добродѣтельныя дѣйствія и даже добродѣтельные образы дѣйствій, которые въ частномъ случаѣ жертвуютъ счастьемъ, такъ какъ они производятъ болѣе страданія, чѣмъ удовольствія“.

Слѣдовательно, необходимъ другой принципъ, совершенно отличный отъ принципа благополучія. Со всею искренностію добросовѣстнаго мыслителя, Милль указалъ этотъ другой принципъ, такъ громко говорящій въ человѣческомъ сердцѣ, что его не можетъ заглушить никакая теорія.

„Я вполне допускаю“ — говоритъ Милль — „справедливость слѣдующаго: что *воспитаніе въ себя идеальнаго благородства воли и поступковъ* должно быть для индивидуальныхъ человѣческихъ существъ цѣлью, которой должно уступать, въ случаѣ столкновенія, исканіе или ихъ собственнаго счастья, или счастья другихъ“ \*).

И такъ, *душевное благородство* — вотъ высшая цѣль человѣческой жизни, такая цѣль, что, если достиженію ея способствуютъ даже страданія, какъ это извѣстно изъ опыта, то и страданія должны быть благословляемы.

Милль, впрочемъ, мечтаетъ далѣе о соглашеніи обобщенныхъ принциповъ, о томъ, что будто бы ду-

---

\*) Система логики, т. II. Спб. 1867 г., стр. 536, 537.

шевное благородство есть *лучшее средство* способствовать благополучію человѣчества. Но, какъ только сдѣлано различіе принциповъ, какъ только сказано, что одинъ изъ нихъ долженъ всегда уступать другому, то ясно, что верховный принципъ имѣетъ цѣну независимо отъ принципа подчиненнаго. Весь вопросъ въ томъ и заключается, чтобы найти главную цѣль жизни, найти, то, что *едино есть на потребу*. Если же мы станемъ смотрѣть на душевное благородство, только какъ на средство, то явится возможность въ частныхъ случаяхъ прибѣгать ради общаго блага къ другимъ средствамъ, отступающимъ отъ благородства, и мы придемъ къ знаменитому правилу, что *цель оправдываетъ средства*.

Правило это не изъ чего инаго и вытекло, какъ изъ предположенія, что общее благо можетъ быть верховной цѣлью для индивидуальнаго человѣка, главнымъ принципомъ, которому все остальное должно быть подчинено.

Мы не будемъ больше останавливаться на общихъ началахъ, а перейдемъ къ приложенію теоріи благополучія. Въ этомъ приложеніи, въ примѣненіи ея къ частнымъ вопросамъ, всего яснѣе обнаружится ея природа.

Какъ достигнуть общаго блага? Какъ сдѣлать жизнь человѣческую счастливою и благополучною?

Первая мысль, которая должна бы, кажется, прийти въ голову людямъ, предлагающимъ себѣ эту задачу, заключается въ томъ, что задача невозможная. Жизнь человѣческая, по самой сущности дѣла, заключаетъ не однѣ радости, но и страданія, совершенно пропорціональныя этимъ радостямъ. Какъ высоко-чувствительный организмъ, человѣкъ способенъ испытывать и великія наслажденія, и мученія, неуступающія въ силѣ наслажденіямъ. Природа столь же мало щадитъ человека, какъ и другихъ животныхъ, и посылаетъ на него болѣзнь, голодъ, потопъ, землетрясеніе. Каждый шагъ человека окруженъ физическими опасностями, которыхъ никто предотвратить и предвидѣть не можетъ. И наконецъ, впереди человека, какъ-бы благополучно онъ ни жилъ, всегда одна и таже перспектива — упадокъ силъ, болѣзнь и смерть.

Затѣмъ слѣдуютъ бѣдствія и страданія, которыя человѣкъ испытываетъ приходя въ соприкосновеніе съ себѣ подобными. Во-первыхъ, люди бьютъ и рѣжутъ другъ друга, у нихъ въ обычаѣ война, и трудно думать, чтобы этотъ обычай прекратился, такъ какъ вѣроятно у людей никогда не пропадетъ охота жертвовать своею жизнью въ защиту дорогаго имъ дѣла. Но и другія столкновенія однихъ людей съ другими не обходятся безъ

страданій. Будеть-ли это свободная борьба, или же правильный порядок,—и то и другое можетъ весьма тяжело отразиться на индивидуальномъ человѣкѣ. Въ борьбѣ—напримѣръ экономической—человѣкъ можетъ быть задавленъ вслѣдствіе тысячи случайностей и неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Точно также, и всякій порядокъ, всякая правильная связь между людьми, по сущности дѣла, стѣсняетъ и связываетъ отдѣльныя личности и, слѣдовательно, въ частныхъ случаяхъ можетъ быть источникомъ великихъ страданій. Каковъ бы ни былъ строй общества, онъ всегда будетъ препятствіемъ, о которое можетъ разбиться частная воля, такъ точно, какъ незыблемые законы міра физическаго безпрестанно бывають причиною гибели отдѣльныхъ организмовъ.

Наконецъ, человѣку свойственны еще *нравственныя страданія*, больше всѣхъ другихъ не дающія ему отдыха и тѣмъ болѣе сильныя, чѣмъ выше его нравственное развитіе. Человѣкъ постоянно волнуется желаніями, воспоминаніями, надеждами. Онъ не можетъ отдѣлаться отъ своего прошедшаго, не можетъ не тревожиться о будущемъ, не можетъ довольствоваться настоящимъ. Возможность страданій заключается уже въ томъ, что каждый человѣкъ развивается лишь постепенно, слѣдовательно долго не вполне понимаетъ себя и



другихъ. „Грѣхи юности“ вошли въ пословицу, и рѣдкій человѣкъ не желалъ бы измѣнить свое прошлое. Самая способность желать и привязываться, отъ силы которой зависитъ размѣръ человеческого счастья, неизбѣжно содержитъ возможность страданій, пропорціональныхъ развитію этой способности. Кто сильно любитъ, тотъ испытываетъ и сильныя мученія отъ потери любимаго предмета; кто сильно желаетъ, тотъ и сильно страдаетъ отъ недостиженія предмета своихъ желаній. Чтобы быть спокойнымъ въ жизни есть только одно средство — быть ко всему равнодушнымъ.

Мы мелькомъ и бѣгомъ касаемся здѣсь темы обширной и общеизвѣстной; человеческія страданія давно извѣстны людямъ и подробно раскрыты въ безчисленныхъ книгахъ, начиная отъ Библии до Шекспира и всевозможныхъ философовъ и поэтовъ. При этомъ мы вовсе не говоримъ о тѣхъ страданіяхъ, которыя производятся всякаго рода злыми и порочными свойствами людей; нѣтъ, мы хотѣли указать только на тѣ страданія, которыя прямо и естественно вытекаютъ изъ самой ограниченности человеческого существа: человѣкъ ограниченъ во времени и въ пространствѣ; силы его имѣютъ извѣстные предѣлы; и онъ, и все, что до него касается, подвержено случайностямъ; жн. п.

человѣка есть явленіе непрочное, непрерывно измѣняющееся, преходящее. Какъ-же мечтать о счастіи, когда каждое изъ этихъ ограниченій чувствуется человѣкомъ какъ страданіе?

Наша мысль будетъ яснѣе, если мы посмотримъ, чего добиваются послѣдователи теоріи благополучія. Если мы увидимъ, что они пришли къ нелѣпостямъ, то намъ будетъ ясно, что они задались невозможною цѣлью.

Но прежде сдѣлаемъ оговорку. Надѣмся, что читатели не подумаютъ, будто мы вооружаемся противъ обязанности любить людей и помогать имъ всѣми силами. Любовь къ людямъ—дѣло прекрасное и святое, но мы здѣсь вовсе не о ней говоримъ. Если мнѣ скажутъ: *люби людей, помогай имъ*, то я конечно не буду въ правѣ отвѣчать: не могу. Нѣтъ, это дѣло возможное и отъ меня самого зависящее. Но если мнѣ скажутъ: *сдѣлай людей счастливыми*, то я буду совершенно правъ, если отвѣчу: не могу и не берусь; я готовъ любить ихъ, готовъ всячески облегчать ихъ страданія и способствовать ихъ благополучію, но не могу ручаться, что сдѣлаю ихъ счастливыми; я не знаю, возможенъ ли такой результатъ, или даже наоборотъ, я знаю, что онъ невозможенъ. Въ первомъ случаѣ цѣль и заповѣдь есть *любовь*, дѣло можетъ быть и не очень легкое, но возможное; въ другомъ случаѣ

цѣль и заповѣдь есть *счастіе*,—дѣло не только трудное, но и вовсе невозможное. И такъ, послѣдователи теоріи благополучія отличаются отъ простыхъ послѣдователей Христа не тѣмъ, что они одни преданы любви къ людямъ и заботятся о благѣ человѣчества, а тѣмъ, что они увѣрены въ возможности счастія человѣчества, что они ручаются за это счастіе и знаютъ будто бы пути, которыми оно можетъ быть и непременно должно быть достигнуто. Посмотримъ же, каковы эти пути.

Что касается до физическихъ источниковъ страданій, то неизбѣжность ихъ слишкомъ ясна, и потому ихъ не отрицаютъ, но зато и не удостоиваютъ надлежащаго вниманія, какъ такой вопросъ, гдѣ много умствовать невозможно. Обыкновенно возлагаются большія надежды на медицину; предполагаютъ, что эта наука современемъ откроетъ средства пресѣкать и предъупреждать всѣ болѣзни, какими страдаютъ люди. Но, если бы даже это было вполне возможно, то останется еще многое, о чемъ и мечтать непозволительно. Нельзя сдѣлать человѣческое тѣло такимъ крѣпкимъ, чтобы оно не разбивалось въ случаѣ паденія, не горѣло отъ огня, не страдало отъ случайной порчи или случайнаго недостатка воздуха, пищи, воды, теплоты. Опасности всегда будутъ грозить гибелью человѣку, и, наконецъ, одни алхимики могли меч-

татъ обѣ избѣжаніи смерти, которая непременно наступитъ, какъ бы мы себя ни сберегали.

Если затѣмъ мы перейдемъ къ страданіямъ человѣка въ обществѣ, то тутъ открывается уже больше простора для борьбы, больше возможности устранять зло. Многіе думаютъ, что общественное зло можетъ быть вовсе уничтожено, что возможно общество, въ которомъ люди ни мало не стѣсняли бы другъ друга,—задача, которая не кажется трудною и невозможною только потому, что людей считаютъ существами, способными вполне управлять своими дѣйствіями и строго подчинять ихъ заранѣе составленнымъ правиламъ. Едва ли, однако же, люди сами себя знаютъ и могутъ располагать своею природою. Путь отдѣльнаго человѣка среди другихъ людей всегда будетъ обставленъ препятствіями и опасностями, по той простой причинѣ, что никто не знаетъ мѣры своихъ силъ, что назначеніе каждаго не только не можетъ быть вѣрно опредѣлено другими, но неясно и для него самого.

Главная задача, о которой хлопочутъ поклонники благополучія, повидимому, проще и нагляднѣе всѣхъ другихъ,—именно состоитъ въ устраненіи страданій бѣдности и нищеты. Мы не будемъ разсматривать здѣсь попытокъ вполне достигнуть этой весьма желательной цѣли; замѣтимъ только,

что главная трудность здѣсь заключается, кажется, въ невозможности устранить изъ дѣла нравственный элементъ. Если бы матеріальное благосостояніе было главною цѣлью людей, они навѣрное давно бы его достигли; но люди всегда расположены пренебрегать своими матеріальными нуждами, рисковать своимъ здоровьемъ, имуществомъ и даже жизнью — изъ-за какихъ нибудь другихъ цѣлей, имѣющихъ для нихъ бѣольшую привлекательность, чѣмъ матеріальное довольство.

Перейдемъ прямо къ предмету нашей статьи — къ нравственнымъ страданіямъ. Въ этой сферѣ, какъ намъ кажется, вопросъ получаетъ наибольшую ясность. Притомъ, мы должны будемъ ограничиться случаями въ высшей степени опредѣленными. Собственно, намъ слѣдуетъ говорить только о любви между мужчинами и женщинами, такъ какъ именно этому предмету посвящены разбираемые нами сочиненія г. Авдѣева. Попробуемъ сперва взять вопросъ въ самыхъ общихъ чертахъ.

Половые отношенія представляютъ самое многостороннее явленіе человѣческой жизни. По своей животной сторонѣ они могутъ быть отнесены къ физическимъ потребностямъ, а по нравственному смыслу, который вносится въ нихъ человѣкомъ, они принадлежать къ самой высокой сферѣ душевной жизни. И чѣмъ сложнее и многостороннѣе

это явленіе, тѣмъ сложнѣе и многостороннѣе страданія, которыхъ оно можетъ быть источникомъ. Если человѣчество страдаетъ отъ такой простой потребности, какъ потребность пищи и питья, если нельзя отвратить всѣхъ случаевъ, когда эта потребность не удовлетворяется, то во сколько разъ больше бѣдъ должно порождать стремленіе, которое по своей высотѣ и сложности почти никогда не достигаетъ совершеннаго выполненія?

Чувства, возникающія между мужчиною и женщиною, начинаясь съ животнаго влеченія, могутъ доходить до удивительной высоты и силы. Въ разной степени, но у всѣхъ есть возможность этихъ чувствъ, и всякій желалъ бы жить этими чувствами. Каждому мужчинѣ желалось бы горячо полюбить женщину, встрѣтить съ ея стороны отвѣтную любовь, имѣть возможность назвать ее своею женой, сохранить эту связь крѣпкою, ненарушимую, имѣть дѣтей, пережить всѣ измѣненія взаимнаго чувства, начиная отъ перваго пыла страсти до той глубокой нѣжности, которая соединяетъ старыхъ супруговъ.

Вотъ идеаль отношеній между мужчиною и женщиною. Спрашивается, многимъ ли онъ доступенъ, многими ли достигается? А между тѣмъ, каждое уклоненіе отъ этого идеала имѣетъ неизбѣжнымъ слѣдствіемъ—страданіе. Ибо человѣкъ

не животное, и отъ несбывшихся надеждъ также страдаетъ, какъ и отъ лишеній настоящей минуты.

Какъ мы сказали, человѣкъ есть существо ограниченное, а потому неизбѣжно подверженъ случаямъ невыполненія своихъ желаній. Если бы для исканія любви и семейнаго счастья намъ было дано неопредѣленное время, то можно бы еще предполагать, что каждый найдетъ его рано или поздно. Но и дни и силы человѣка измѣрены. Нельзя воротить молодости, нельзя предотвратить старости. Мужчина или женщина, сдѣлавшіе одну двѣ неудачныя попытки устроить себѣ брачныя отношенія, обыкновенно тратятъ на нихъ столько времени, свѣжести, чувствъ и силъ, что потомъ уже становятся невозможны новыя попытки. Въ сущности, эти случаи похожи на случаи искалѣченія, невозвратной и незамѣнимой потери какой нибудь части организма. Если вы потеряли руку или глазъ,—то уже дѣло кончено, и бѣды ничѣмъ поправить нельзя. Такъ точно, если у васъ потеряна молодость, если неудачна была ваша первая глубокая любовь,—жизнь ваша (въ этомъ отношеніи) испорчена и ничѣмъ быть поправлена не можетъ.

Посмотримъ теперь, что же говорятъ проповѣдники человѣческаго благополучія. Случай, на

который написаны три произведенія г. Авдѣва (и на которомъ точно также основанъ романъ „*Что дѣлать*“) представляетъ одно изъ самыхъ ясныхъ и простыхъ человѣческихъ несчастій, а именно: *жена измѣняетъ мужу*.

Варіаціи на эту тему сдѣланы г. Авдѣвымъ слѣдующія:

Въ «Подводномъ камнѣ» жена любитъ мужа, но встрѣчается съ мужчиною болѣе молодымъ и красивымъ, охладѣваетъ къ мужу и влюбляется въ юношу.

Въ «Межъ двухъ огней» жена равнодушна къ мужу и, встрѣтившись съ красивымъ юношей, отдается ему.

Въ «Магдалинѣ» жена любитъ мужа и не перестаетъ его любить, но отдается другому мужчинѣ потому, что мужъ уѣзжаетъ на долгое время. Когда мужъ возвращается, жена прогоняетъ любовника и продолжаетъ любить мужа по прежнему.

Таковы эти исторіи, въ завязкѣ которыхъ, какъ читатель видитъ, нѣтъ ничего необыкновеннаго, кромѣ развѣ необыкновенной пошлости послѣдней исторіи. Но новое и необыкновенное заключается въ развязкѣ этихъ событій, не въ томъ, какъ ведутъ себя жены, а въ томъ, какъ поступаютъ при этомъ мужья.

Мужъ въ «Подводномъ камнѣ» отпускаетъ отъ



себя жену съ любовникомъ; когда же любовникъ охладѣлъ къ героинѣ, и она возвращается домой, мужъ принимаетъ ее, и они снова наслаждаются семейнымъ счастьемъ.

Мужъ въ «Межъ двухъ огней» приглашаетъ любовника своей жены жить къ себѣ въ домъ: когда жена, вслѣдствіе связи, приходитъ въ интересное положеніе, мужъ общается ей усыновить ребенка. Любовникъ бросаетъ жену, какъ и въ первомъ разсказѣ; у жены является новый обожатель; но на этомъ интересномъ мѣстѣ авторъ задерживаетъ занавѣсъ. Нѣтъ сомнѣнія, однако же, что мужъ и впередъ не будетъ обижать жены, и подъ конецъ, вѣроятно, проживетъ съ нею по прежнему.

Наконецъ, въ «Магдалинѣ» мужъ, ничего не знавшій и уже наслаждавшійся, по возвращеніи, семейнымъ счастьемъ, узнаетъ о прошломъ и сначала сердится. Онъ не обижаетъ жены, но разрываетъ съ нею брачныя отношенія. Когда же та отъ горя умираетъ, мужъ сознаетъ свою ошибку и раскаявается. Онъ чтитъ память своей жены и нѣжно любитъ ребенка, о которомъ не знаетъ достоверно, отъ кого онъ родился.

Именно въ поведеніи мужей и заключается наставительность разсказовъ г. Авдѣева; первые два мужа выставлены, какъ образцы гуманныхъ

людей, ведущихъ себя сообразно съ просвѣщенными идеями; послѣдній мужъ выставленъ чело-вѣкомъ пустымъ, исполненнымъ предразсудковъ, отъ чего онъ и впадаетъ въ грубый промахъ, и только на горькомъ опытѣ убѣждается, что поступилъ дурно.

И такъ, г. Авдѣевъ научаетъ насъ, что измѣна жены вовсе не есть неисправимое бѣдствіе,—что стоитъ только быть гуманнымъ и чуждымъ предразсудковъ, чтобы все обошлось благополучно, и чтобы никто не пострадалъ. Неправда ли, что интересна та мудрость, которая можетъ привести къ такимъ блистательнымъ результатамъ? Попробуемъ изложить главные основанія этой мудрости.

Существенный принципъ заключается въ томъ, что любовь между мужчиной и женщиной есть величайшее благо, лучшее наслажденіе, какое можетъ представить жизнь. „Что за жизнь безъ любви?“ говоритъ Камышлинцевъ, герой романа „Межъ двухъ огней“; „вѣдь это произрастаніе! Да еще и произрастаніе-то безъ цвѣта, безъ аромата *Какъ же можно отказывать себѣ въ этомъ чувствѣ, которымъ однимъ только и красна жизнь!* Вѣдь это..... половина самоубійства, это самоискалѣченье!“ („Между двухъ огней“, стр. 77).

И такъ, прямой выводъ, къ которому послѣдовательно приходитъ теорія благополучія, будетъ

тотъ, что не должно отказываться отъ счастія любви. Гдѣ бы и какъ бы ни явилась любовь, она имѣетъ право на существованіе, ибо въ ней достигается цѣль жизни—счастіе. Мѣшать любви—значить мѣшать людямъ достигать этой цѣли.

Но какъ же является любовь? Какъ получается и сохраняется это великое благо? На это намъ отвѣчаютъ, что любовь есть явленіе случайное, прихотливое, ни мало не зависящее отъ воли и усилій человѣка, который испытываетъ это чувство. *Наши чувства отъ насъ не зависятъ*—вотъ аксіома этой школы. Въ „Подводномъ камнѣ“ Соколинъ, выслушавъ признаніе въ любви отъ своей невѣсты, говоритъ ей:

„Во мнѣ есть убѣжденіе, твердое, неизмѣнное, что *чувства не зависятъ отъ насъ*. Я вѣрю, что они могутъ не измѣняться, но могутъ и измѣниться — *все дѣло случая и обстоятельствъ, какъ болтзнь*... Дайте мнѣ слово, что если когда нибудь... *хоть завтра... хоть на другой день свадьбы*... если эти чувства измѣнятся... если вы увидите, что ошибались въ нихъ, или во мнѣ, что я не стою ихъ, или другой лучшій заставитъ ихъ измѣниться... тогда... тогда вы мнѣ прямо, какъ другу, какъ брату, скажете объ этомъ“. („Подводный камень“, стр. 142).

Влюбленная дѣвушка обижается такими рѣ-

чами, но потомъ оказывается, что ея опытный женихъ былъ совершенно правъ въ своихъ предположеніяхъ.

Итакъ въ любви все — дѣло *случая и обстоятельствъ*; она не подводится ни подъ какія правила и можетъ внезапно исчезнуть, *завтра, или на другой день свадьбы*.

Часто ли, однако же, являются подобныя неотразимыя чувства и ничѣмъ непредотвратимыя перемѣны? Составляютъ ли они исключеніе, или общее правило? Если вѣрить г. Авдѣеву, то эта слѣпая, неудержимая страсть любви господствуетъ надъ всѣми смертными, и перемѣны въ ней случаются непрерывно.

„Когда Камышлинцевъ (молодой холостякъ) и Мытищева (молодая замужняя женщина) остались вмѣстѣ, они почувствовали“, рассказываетъ г. Авдѣевъ, „то особенное, пріятное и нѣсколько смущающее ощущеніе, которое всегда *является само собою, если молодой мужчина и молодая женщина, неприспосовившіе еще никуда свое такъ называемое сердце, остаются съ глазу на глазъ*. Тотчасъ какъ будто подумается: „ну вотъ мы и одни! что же выйдетъ изъ этого?“ и при этомъ мужчина *иначе поглядитъ на женщину*, а женщина чувствуетъ на себѣ этотъ взглядъ, и сама иначе подумаетъ о своемъ собесѣдникѣ“. („Межъ двухъ огней“ стр. 72).

И такъ, вотъ простѣйшій *случай* и обыкновеннѣйшія *обстоятельства*, въ которыхъ можетъ возникнуть непреодолимая любовь. Въ другомъ романѣ, молодой человѣкъ такъ объясняется съ молодой замужней женщиной:

„Неужели вы думаете, что человѣкъ *еще молодой и свободный* можетъ встрѣчаться съ женщиной, какъ вы, въ добавокъ съ женщиной, которая ему нравилась, безъ того, чтобы ему не хотѣлось ея любви, когда, и безъ того, *ни одинъ мужчина не встрѣчаетъ равнодушно симпатичную ему женщину!* Или вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что я зачерствѣлъ, или превратился въ кусокъ льда? Да вѣдь это была бы *болѣзнь, или уродство...*“ („Подводный камень“, стр. 181).

И такъ, свободный молодой человѣкъ, если онъ не уродъ и не боленъ, непременно желаетъ любви каждой симпатичной ему женщины. Такъ говорятъ юноши; но, какъ открываетъ намъ г. Авдѣевъ, и старцы не менѣе юношей подвержены власти любви.

„Любовь“, говоритъ онъ, „есть не только одно изъ самыхъ великихъ, но и самыхъ живучихъ чувствъ. Она пронизываетъ все животное царство \*), и есть первый двигатель и источникъ жизни. Она

---

\*) Г. Авдѣевъ упустилъ изъ виду царство растительное, которое также представляетъ различіе половъ.

переживаетъ въ человѣкѣ и его молодость и силы. Старческая любовь можетъ быть не менѣе сильна и глубока, чѣмъ всякая иная; опытъ, даже опасеніе и боязнь смѣшнаго—и тѣ не всегда мѣшаютъ ей выказываться! Спросите женщину, на какія пожертвованія, *на какое безуміе способенъ остающийся съ ней наединѣ старикъ*,—и вы убѣдитесь, что, по мѣрѣ утраты правъ на это великое и сладчайшее чувство, человѣкъ, кажется, болѣе и болѣе дорожить его послѣднимъ проблескомъ, послѣдними крупницами самой роскошной трапезы, и надо имѣть болѣе чѣмъ когда либо самообладанія, силы воли и глубоко - трезваго взгляда, чтобы, сознавъ пору увяданія, съ грустью, но твердо сказать себѣ: „эту прелестнѣйшую сторону жизни я отжилъ навсегда!“ > („Межъ двухъ огней“, стр. 94 и 95).

Таково положеніе дѣла. Мы не имѣемъ причины сомнѣваться въ справедливости этихъ картинъ; мы думаемъ даже, что авторъ очень мѣтко выразилъ въ нихъ образъ мыслей и дѣйствій, если не человѣчества вообще, то извѣстной доли нашего просвѣщеннаго общества, что есть дѣйствительно среда, въ которой молодой мужчина желаетъ любви каждой молодой женщины и, оставшись съ ней наединѣ, начинаетъ смотрѣть на нее *иначе*, старики же въ подобномъ случаѣ пускаются на всякія безумства.

Нельзя не замѣтить, что авторъ очевидно радуется такому обилію *великаго и сладчайшаго чувства* среди тѣхъ людей, которыхъ онъ описываетъ; и въ самомъ дѣлѣ, если въ любви счастье, то чѣмъ его больше, тѣмъ лучше.

Но какъ же при этомъ изобиліи счастья избѣжать страданій? Какъ сдѣлать, чтобы, при такомъ порядкѣ вещей, мужа и возлюбленные не мучились отъ того, что ихъ жены и подруги охладѣваютъ къ нимъ, влюбляются въ другихъ и, наконецъ, вовсе покидаютъ своихъ прежнихъ сожителей? Вотъ существенный вопросъ, и вотъ гдѣ обнаруживается вся сила и всѣ свойства теоріи благополучія.

Проповѣдники счастья требуютъ въ этомъ случаѣ, чтобы человѣкъ *измѣнилъ свои чувства*, чтобы онъ силою ума подавилъ въ себѣ тѣ непріятныя волненія, которыя испытываютъ люди грубые и непросвѣщенные. Обыкновенно при измѣнѣ въ любви люди мучатся ревностію, начинаютъ ненавидѣть женщину, которая имъ измѣнила, и мужчину, къ которому перешла любовь этой женщины, и, наконецъ, если и побораютъ въ себѣ злобу противъ нихъ, то чувствуютъ глубокое горе и разочарованіе. Очень часто теряется при этомъ всякая вѣра въ любовь и всякая охота къ дальнѣйшимъ любовнымъ похождениямъ.

Все это требуется устранить; проповѣдники счастья надѣются, что они могутъ своими убѣжденіями искоренить въ людяхъ всякую возможность подобныхъ чувствъ и даже внушить людямъ чувства совершенно противоположныя.

Ревность, злоба, отчаяніе и пр.—все это признается чувствами *фальшивыми, напускными, противными природѣ*. Ревность есть нелѣпность; она основывается или на зависти къ чужому счастью, или на томъ предразсудкѣ, по которому мужчина считаетъ женщину своей исключительной собственностію, унижаетъ ее на степенъ своего сюртука или халата, ему одному принадлежащаго. Питать къ любящимся злобу также нелѣпо; скорѣе нужно радоваться ихъ взаимному счастью и сколько возможно способствовать ему. Наконецъ, приходитъ въ отчаяніе тоже не слѣдуетъ, а нужно спокойно покориться необходимости и приняться энергически искать себѣ новой любви, на мѣсто той, которую мы потеряли.

Таковъ новый кодексъ новыхъ чувствъ, которыми должны руководиться просвѣщенные и прогрессивные люди въ дѣлахъ любви.

Да, мы и забыли было объ одномъ существенномъ пунктѣ: женщина, измѣнившая мужчине, можетъ опять быть принята имъ въ союзъ любви, ибо несправедливо и негуманно сердиться за то, что уже прошло, чего больше нѣтъ.



Весьма любопытно было бы съ точностію анализировать эти новыя правила жизни, на что, къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ времени; мы постараемся только дать читателю общее понятіе объ этомъ образѣ чувствъ и мыслей. Главныя черты его, намъ кажется, слѣдующія: 1) должно сочувствовать чужому благополучію, 2) должно думать только о настоящемъ, существенномъ, забывать прошлое и не заботиться о будущемъ.

Прекрасное зрѣлище двухъ любящихся существъ должно восхищать насъ. Въ романѣ „Между двухъ огней“ нѣкто Ольга Мытищева измѣняетъ своему мужу. У мужа есть братъ, декабристъ и умнѣйшій человѣкъ, котораго чувства должны служить намъ образцомъ. И вотъ что рассказываетъ г. Авдѣевъ объ этомъ умномъ старикѣ: «Мы говорили, что онъ очень любилъ Ольгу, а съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ о ея связи, по странному, но общему всѣмъ мужчинамъ свойству, *она ему стала нравиться еще болѣе*». (стр. 209).

Вотъ какъ слѣдуетъ чувствовать въ подобныхъ случаяхъ. Во-вторыхъ, и главное дѣло,—нужно имѣть въ виду только настоящее. Въ повѣсти „Магдалина“, мужъ, узнавши, что въ его отсутствіе жена его любила съ другимъ, спрашиваетъ ее съ гнѣвомъ: „такъ это правда? Онъ былъ твоимъ любовникомъ?“

„Послушай“ — отвѣчаетъ ему жена: — „есть вещи, о которыхъ не говорятъ, и я не знаю, по какому праву ты меня допрашиваешь объ этомъ. Я тебѣ сказала, что отдалила его, и ты самъ, надѣюсь, видишь, что я люблю тебя и люблю тебя одного: *чего же тебѣ еще?*“ („Дѣло“ № 1. стр. 118).

По глупости и по закоренѣлости въ предразсудкахъ, мужъ не можетъ понять этой разумной рѣчи и продолжаетъ злиться и ругаться; между тѣмъ какъ, еслибы онъ вразумился, онъ, очевидно, успокоился бы и былъ бы счастливъ.

Надѣмся, читателямъ ясна теперь главная суть этой теоріи благополучія. Легко развить эту теорію до конца и съ точностію выразить идеаль, къ которому она стремится. Чтобы люди были счастливы въ любви, они должны вполне покоряться влеченію этого чувства, за измѣну не сердиться, стараго не вспоминать, о будущемъ не думать и одинаково любить какъ своихъ, такъ и неизвѣстно-чьихъ дѣтей, рожденных ихъ женою (такъ поступаетъ мужъ „Магдалины“, умудренный, наконецъ, горькимъ опытомъ). Однимъ словомъ, люди должны отбросить всѣ *фальшивыя* чувства, заботы, мысли и различія и руководиться только однимъ *великимъ и сладчайшимъ* чувствомъ любви.

Что-же сказать объ этомъ идеалѣ? Съ точки зрѣнія счастія онъ, право, очень недурень. Для

счастія человѣчества, можетъ быть, было бы хорошо, еслибы люди перестали думать и помнить, еслибы они отказались отъ разныхъ мечтаній и притязаній и приблизились бы къ животнымъ. Животныя, безъ всякаго сомнѣнія, счастливѣе людей; они спокойнѣе, довольнѣе собою и вполнѣ способны жить однимъ настоящимъ. У Овидія, Мирра, дочь, влюбленная въ отца, горько завидуетъ коровамъ и лошадямъ. Да и вообще, зависть къ счастію животныхъ очень нерѣдко выражалась людьми; вспомните, напримѣръ, Жанъ-Жака Руссо.

Но, бѣдное человѣчество! Оно едва ли когданибудь будетъ въ силахъ измѣнить характеръ своихъ чувствъ, едва ли когданибудь даже пожелаетъ такой перемѣны. Люди не откажутся отъ своихъ высшихъ радостей, отъ своихъ лучшихъ стремленій только потому, что съ этими радостями связаны и соотвѣтственные страданія. Люди всегда будутъ мечтать о такой любви, при которой потеря любимаго человѣка незамѣнима, подобно тому, какъ ничѣмъ нельзя замѣнить потерю матери или дѣтей. Чтобы уничтожить горе, которое намъ можетъ причинить утрата материнской любви, или радости, доставляемой намъ дѣтьми, есть очень простое средство: пусть дѣти никогда не знаютъ своихъ родителей, а родители своихъ дѣтей. Такъ это дѣлается у животныхъ, у которыхъ семейство

распадается, какъ скоро кончено дѣло воспитанія. Но едва ли, говоримъ мы, человѣчество когда нибудь прибѣгнетъ къ этой мѣрѣ для облегченія своихъ страданій и станетъ искусственно (скрывая дѣтей отъ родителей) производить то, что у животныхъ дѣлается естественно (вслѣдствіе забыванія и погруженія въ настоящее). Точно также, скорое утѣшеніе новою любовью, послѣ потери старой, едва ли когда нибудь будетъ для человѣчества идеаломъ любовныхъ отношеній. Къ великому своему несчастью, люди помнятъ прошлое и не хотятъ отказаться отъ этой памяти; поэтому они бываютъ безутѣшны и стремятся не къ такому счастью, которое легко забыть и замѣнить новымъ.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что проповѣдники благополучія очень дурно понимаютъ человѣческую жизнь, видятъ въ ней нѣчто гораздо менѣе серьезное и глубокое, чѣмъ она есть на самомъ дѣлѣ. Ихъ взгляды отзываються легкомысліемъ юности и неопытности, не смотря на то, что иные изъ этихъ проповѣдниковъ украшены сѣдинами; эти люди, очевидно, не прошли горькаго опыта, не извѣдали ни тѣхъ высокихъ желаній, которыя можетъ питать человѣкъ, ни той глубины горя, до которой можетъ довести его жизнь. Для проповѣдниковъ счастья все легко, все возможно, чѣмъ они доказываютъ не столько свое благорасположеніе къ

роду человѣческому и сочувствіе его страданіямъ, сколько свое собственное благополучное настроеніе, свое незнаніе серіозныхъ чувствъ и мыслей. Чтобы такъ настойчиво желать счастья и такъ увѣренно проповѣдывать это желаніе, нужно находиться въ нѣкоторомъ легкомъ и пріятномъ расположеніи духа, нужно испытывать нѣкоторое довольство собою и своею судьбою. Не весело дѣйствительнымъ страдалцамъ слушать рѣчи, произносимыя въ этомъ тонѣ и духѣ; да и всякій серіозный человѣкъ не воздержится отъ насмѣшки при видѣ такого наивнаго счастья.

Что касается, въ частности, до г. Авдѣева и его любимой темы, то легко убѣдиться, какъ мало его произведенія захватываютъ серіозную сторону жизни, какъ слабо онъ понимаетъ истинно-человѣческія чувства и желанія. Картины счастья, которыя онъ рисуетъ, ни мало не привлекательны. Любовь, это „великое и сладчайшее чувство“, всепобѣдную силу котораго онъ постоянно воспѣваетъ, не имѣетъ въ его разсказахъ никакой прелести и скорѣе способна внушить отвращеніе. Это не любовь въ настоящемъ смыслѣ, а простое, вялое, холодное сластолюбіе, изъ-за котораго не стоитъ ни страдать, ни жертвовать. Всѣ эти жены, измѣняющія своимъ мужьямъ, и мужья, прощающіе своихъ женъ и вновь живущіе съ ними, поражаютъ насъ

не избыткомъ жизни, а, напротивъ, явною мертвеностію, явнымъ отсутствіемъ всякихъ живыхъ и теплыхъ чувствъ, и тѣмъ отвратительнѣе та комедія мнимыхъ волненій и влеченій, которую они разыгрываютъ между собою. Вотъ міръ, въ которомъ невозможно быть счастливымъ, такъ какъ въ немъ нѣтъ ни одного теплаго сердца, ни одного дѣйствительнаго человѣка.

*Безжизненность*—такова самая основная и характеристическая черта произведеній г. Авдѣева. И эта школа необходимо должна была прійти къ непониманію жизни, къ отрицанію ея существеннаго содержанія. Давно замѣчено, что люди глупые, легкомысленные, слабо чувствующие и мыслящіе, живутъ на свѣтѣ легче и счастливѣе другихъ. Г. Авдѣевъ вполне подтверждаетъ это замѣчаніе своими рассказами. Счастье, которое онъ рисуетъ и проповѣдуетъ, основано на совершенномъ невѣденіи истинныхъ радостей и горестей человѣческой жизни.

1869 г. 4 апр.

---

# Поминки по Аполлонѣ Григорьевѣ.

(1822—1864).

Сегодня (25-го сент. 1889) исполнилось 25 лѣтъ со дня смерти Аполлона Григорьева. Четверть столѣтія—долгое время для нашей краткой жизни. Но, еслибы онъ всталъ изъ могилы, что новаго нашелъ бы онъ въ русской литературѣ, составлявшей всегдашній предметъ его мыслей? Вѣроятно, онъ былъ бы очень удивленъ медленностью нашего развитія. Въ самомъ дѣлѣ, при немъ уже были на лицо и громко заявили себя всѣ силы, дѣятельность которыхъ наполняетъ это двадцатипятилѣтіе. Въ публицистикѣ уже тогда были въ полномъ цвѣту петербургскій нигилизмъ и два московскіе соперника—Катковъ и Аксаковъ. Въ беллетристикѣ уже стояли на высшей своей точкѣ Тургеневъ, Островскій, Писемскій, пожалуй и Салтыковъ. Всѣ, кого мы назвали, лишь недавно окончили свою дѣятельность, но лучшее свое по-

прище прошли уже при Григорьевѣ, а потомъ только понижались, иногда даже черезчуръ замѣтно. Наоборотъ, два писателя, Достоевскій и Л. Н. Толстой, только послѣ смерти Григорьева вполне раскрыли свои силы, приобрѣли значеніе, можно сказать, отодвинувшее на второй планъ всѣхъ предъидущихъ. Но и при Григорьевѣ они уже очень опредѣлились, и имена ихъ стояли въ первомъ ряду. Наконецъ, поэты въ тѣсномъ смыслѣ были тогда тѣ же и имѣли тотъ же относительный вѣсъ, какой мы имъ теперь придаемъ: изъ покойныхъ—Тютчевъ и Некрасовъ, изъ живыхъ—Майковъ, Полонскій и Фетъ.

Не поразительное ли дѣло? Почти безъ исключенія, на первомъ планѣ литературы стояли и стоятъ до сихъ поръ люди, появившіеся въ николаевское время, въ послѣднія семь, восемь лѣтъ этого времени. Случилась какъ будто какая-то остановка на цѣлыя сорокъ лѣтъ! Аполлонъ Григорьевъ былъ ровесникомъ всѣхъ элементовъ, которые имѣли и имѣютъ въ литературѣ главную силу по настоящую минуту. Собственно новымъ былъ бы для него развѣ только послѣдній фазисъ дѣятельности Л. Н. Толстого, фазисъ, который теперь у всѣхъ на языкѣ, и у насъ, и повсюду, но огромное значеніе котораго такъ рѣдко кѣмъ понимается.



Разгадка этой остановки, кажется, одна: мы перенесли въ это время тяжкую и страшную болѣзнь—нигилизмъ; въ «интеллигенціи» возникло злокачественное броженіе, которое принимало различныя формы, обострялось и притихало, и разразилось, наконецъ, безумнымъ злодѣйствомъ 1-го марта. Мы жили среди колебанія умовъ и душъ, постоянно отвлекавшаго вниманіе, не дававшего зрѣть никакимъ зачаткамъ.

Но, если новыхъ талантовъ почти не появлялось, то литература все-таки продолжала расти и развиваться, такъ сказать, вопреки нигилизму. Въ ней были уже силы, не подпадающія ни подъ какую зависимость, какъ, напримѣръ, Л. Н. Толстой, котораго «Война и миръ», писанная уже въ началѣ «эпохи покушеній», вдругъ расширила и углубила всѣ наши литературныя задачи, открыла горизонты, давно потерянные изъ нашихъ глазъ. Были также люди отзывчивые, схватившіеся съ нигилизмомъ грудь съ грудью и освѣтившіе глубочайшіе припадки этой болѣзни—таковъ былъ Достоевскій. Вообще, не смотря на то, что общій уровень писателей и читателей понижался вмѣстѣ съ огромнымъ расширеніемъ и внѣшнимъ нарастаніемъ печати, въ сущности, въ глубинѣ, литература зрѣла, становилась все серіознѣе и строже въ своихъ запросахъ и никакъ не дала сбить себя

съ правильного пути. Слава Богу, у насъ есть самобытно живущая и растущая литература, есть уже и сознаніе этого, и крѣпкая любовь къ ней. Недавно еще, нельзя было не прійти въ изумленіе и восхищеніе отъ той живости съ которою сказалось наше литературное сознаніе въ массахъ читателей. Мы говоримъ о Пушкинѣ. Наибольшая слава досталась Пушкину именно въ концѣ этого двадцатипятилѣтія, тому самому Пушкину, котораго наши журналы давно уже отложили было въ сторону, а нѣкоторые пренаивно собирались сдать въ архивъ. И вдругъ тѣнь его появилась передъ нами въ такомъ величій, передъ которымъ поблѣднѣли всякія соперничества и обратились въ прахъ всякіе толки мудрившихъ надъ нимъ судей.

Аполлонъ Григорьевъ есть писатель, значенію котораго тоже суждено возрастать вмѣстѣ съ развитіемъ нашего литературнаго сознанія. При жизни онъ не имѣлъ никакого успѣха у читателей и былъ совершенно затертъ тѣми, кого онъ называлъ „теоретиками“. Хотя имя его и тогда уже было громко, но оно пріобрѣло свой вѣсъ только между писателями, которые не могли же не чувствовать его силы, если только были сколько нибудь проникательны. Вспоминая наши сходки въ послѣднія шесть лѣтъ его жизни, когда я съ нимъ

былъ близокъ, я живо припоминаю то явное превосходство, которое онъ имѣлъ надъ литераторами тогдашнихъ кружковъ. Не только онъ былъ глубоко образованный человѣкъ, знавшій языки, начитанный, посвященный въ философію, но и очевидный блескъ зрѣлаго ума и тонкость пониманія ставили его далеко выше другихъ. Между тѣмъ, писанія его были не по вкусу и не по плечу публикѣ и проходили безслѣдно, лишь изрѣдка привлекая инаго чуткаго читателя, который зато ужъ становился ихъ жаркимъ поклонникомъ. Та же судьба преслѣдовала его и за гробомъ. Когда въ 1876 г. былъ изданъ первый томъ его сочиненій, очень большая книга, содержащая всѣ его главныя, руководящія статьи, то это изданіе сразу, что называется, сѣло и почти вовсе не шло цѣлые десять лѣтъ. Какимъ образомъ случился поворотъ въ этомъ дѣлѣ? Судя по всему, большая роль здѣсь принадлежитъ профессорамъ русской словесности, изъ которыхъ мы можемъ назвать А. Д. Галахова, О. Ѳ. Миллера и А. И. Незеленова. Они въ своихъ ежегодныхъ курсахъ натвердили студентамъ имя Григорьева, какъ замѣчательнаго критика. Какъ бы то ни было, но только, вообще, значеніе Григорьева, незримо для текущей литературы, очень возросло къ послѣднему времени, и когда цѣна на его книгу была сильно сбавлена, книга

разошлась съ удивительной быстротою; отъ 2.000 экземпляровъ осталось уже очень мало. Правда, пришлось прибѣгнуть къ тѣмъ лавочкамъ, которыя умѣютъ лучше продавать, чѣмъ магазины.

Пусть извинять намъ эти подробности; вѣдь эта книга принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя, когда бываютъ прочитаны, уже навсегда удерживаютъ подъ своею властью читателя, такъ что число читателей тутъ очень близко къ числу почитателей. Кто вникнетъ въ Григорьева, тотъ пойметъ, что такое истинная критика, и уже никогда не смѣшаетъ ее съ тѣми разсужденіями и разглагольствіями, которыя слывуть подъ ея именемъ. Обыкновенно, само художество, само творческое произведеніе бываетъ отодвигаемо на второй планъ передъ соображеніями пѣнителя и судьи. У Григорьева же главное мѣсто всегда принадлежало художеству, а не его критику. Поэтому-то для его глазъ въ словесныхъ произведеніяхъ открывалась самая глубокая ихъ значительность; онъ видѣлъ и понималъ ихъ внутреннее біеніе, ихъ тайный ростъ изъ души человѣка. Искусство было для него самымъ лучшимъ, самымъ полнымъ откровеніемъ жизни; поэтому онъ улавлялъ самыя сокровенныя нити, связывающія искусство съ жизнью и умѣлъ идти за художникомъ всюду, куда тотъ поведетъ. Онъ называлъ это

*органическою* критикою, такъ какъ «организмъ» есть синонимъ всякихъ внутреннихъ связей и всякаго своеобразія. Поэтому, также, критика Григорьева имѣла направленіе къ націонализму; «національность» вѣдь есть одна изъ органическихъ категорій, неизбѣжная при разсмотрѣніи явленій человѣческаго міра. И если кому дорога мысль о нашей самобытности, тотъ никогда не забудетъ высокой оригинальности, съ которою эта мысль была приложена Григорьевымъ къ нашей литературѣ.

Значеніе Аполлона Григорьева будетъ еще долго возрастать. Не только сдѣланный имъ очеркъ литературнаго развитія отъ Карамзина до того фазиса, явленія котораго до сихъ поръ еще не завершились, есть единственный у насъ полный и органически-связный взглядъ на нашу литературу, но еще важнѣе, еще больше имѣютъ глубокой поучительности самые приемы нашего единственнаго критика. Въ дѣлахъ ума главная заслуга всегда заключается не столько въ результатахъ, сколько въ методѣ, усвоивая который мы сами получаемъ способность продолжать дѣло.

Не пожалѣть ли намъ, что такъ рано ушелъ отъ насъ несравненный критикъ? Будемъ утѣшать себя, что онъ успѣлъ уже высказать свои главные мысли; но, безъ сомнѣнія, онъ далъ бы намъ еще

много поучительнаго. Для него самого, впрочемъ, жизнь уже имѣла мало свѣтлаго въ послѣдніе его годы. Аполлонъ Александровичъ принадлежалъ къ тѣмъ натурамъ, къ которымъ принадлежитъ большинство людей, дѣйствительно стоящихъ имени писателя, т. е. онъ былъ одаренъ крайнею впечатлительностью. Читатели, любующіеся хорошими писаніями, едва ли имѣютъ понятіе о томъ, какою дорогою цѣною перѣдко покупаются всѣ эти мѣткіе взгляды, живыя и тонкія замѣчанія, весь этотъ пламень мысли, бѣгущій по строчкамъ. Обыкновенное условіе этого то, что на писателя многое дѣйствуетъ стократъ сильнѣе, чѣмъ на другихъ людей, что бывають вещи, поглощающія его душу, такъ что спокойствіе для него почти невозможно. А слѣдовательно, страданіе всегда готово захватить его, и часто въ конецъ губить неосторожныхъ. Трудно себѣ представить, какимъ бы образомъ Григорьевъ могъ перенести ту тяжкую четверть вѣка, которая прошла послѣ его смерти. Его, во всякомъ случаѣ, должно было скоро замучить то разложеніе журналистики, паденіе чисто-литературныхъ вкусовъ и общее пониженіе текущей литературы, которое наступило послѣ польскаго возстанія. Душевные свойства Григорьева для меня (какъ и для многихъ его знавшихъ) были чрезвычайно привлекательны, и, не-

смотря на безпорядокъ его жизни, эта симпатія ни разу не была во мнѣ нарушена, потому что никогда нельзя было у него встрѣтить ни единого движенія мелочности или эгоизма. Онъ былъ дѣйствительно *широкій* человѣкъ, истинно добродушный и беззавѣтно увлекающійся. И вотъ потому-то, что у него было не довольно эгоизма, слишкомъ мало осторожности и заботы о собственной особѣ, трудно было бы ему сберечь себя долгіе мрачныя годы, и онъ рано оставилъ насъ.

Миръ праху твоему, незабвенный нашъ критикъ! Нынче, собираясь на твою могилу, мы должны со стыдомъ признаться, что твои свѣтлыя мысли и плодотворныя взгляды до сихъ поръ еще мало нами усвоены и разъяснены; и мы должны, по крайней мѣрѣ, дать твердое обѣщаніе, что драгоцѣнное наслѣдство, которое ты намъ оставилъ, мы сохранимъ и завѣщаемъ его новымъ поколѣніямъ.

25 сент. 1889.

---





# Послѣдній изъ идеалистовъ.

*(Отрывокъ изъ ненаписанной повѣсти).*

Посвящается Ю. П. П—ой.

---

Вы помните Павла Николаевича Т—хова; года два тому назадъ, когда онъ ненадолго приѣзжалъ въ Петербургъ, вы его видѣли, и тогда же замѣтили, что онъ человѣкъ очень изящный и тонко развитый. Но я его знаю давно, съ того времени, какъ я еще только поступалъ въ студенты университета, а онъ уже нѣсколько лѣтъ былъ военнымъ медикомъ. Онъ былъ старше меня годами десятью и, несмотря на то, мы, студенты, образовали около него кружокъ, очень къ нему расположенный. Онъ производилъ на насъ странное дѣйствіе; въ немъ было спокойствіе, глубина котораго казалась неизмѣримою. Это не было однакоже спокойствіе апатіи или холодное равнодушіе полного отчаянія; повидимому онъ былъ спокоенъ свѣтло и ровно. Оттого намъ было съ нимъ такъ

хорошо. При немъ, бывало, согласишься и разболтаешься вволю: удивительный былъ мастеръ слушать и понимать все до тонкости. Заспоримъ, бывало, разгорячимся до подступа злости: онъ сейчасъ же точно руками разниметъ насъ и дастъ разговору спокойное теченіе. Часто въ то время нападала на меня молодая тоска; тогда я прямо шелъ къ нему и навѣрное зналъ, что просидѣвши часъ-другой, уйду отъ него успокоенный и усмиренный.

Онъ былъ одинокій человѣкъ и водилъ знакомство со множествомъ разнокалибернаго народа. Но что же это былъ за человѣкъ? Чѣмъ жилъ онъ? То-есть, что составляло его радость и горестъ, его внутреннюю жизнь? Никто не зналъ этого. Кромѣ его преданности медицинѣ, его постоянныхъ учебныхъ работъ, никто не зналъ за нимъ другаго, болѣе личнаго, болѣе живаго интереса. Онъ никогда не говорилъ о себѣ, никогда не высказывалъ своихъ желаній; не видать въ немъ было ни зависти, ни злобы; казалось, онъ никогда не испытывалъ ни особенныхъ восторговъ, ни особенныхъ огорченій.

Насъ это очень занимало. Въ то время, какъ мы вокругъ него ссорились, влюблялись, кутили, страдали или торжествовали самолюбіемъ, онъ оставался среди насъ неизмѣнно спокойнымъ и яснымъ.

На попойкахъ онъ пилъ не менѣе другихъ, но ни разу не сдѣлалъ и не сказалъ ни единой глупости. Мы повѣряли ему свои тайны; онъ никогда не впадалъ въ откровенность и всегда увѣрялъ, что ему нечего открывать.

Помню слова его, которыя очень удивили меня. Мы всѣ называли его прекраснѣйшимъ человѣкомъ и часто говорили ему это въ глаза. Однажды на такую рѣчь онъ возразилъ мнѣ съ большою живостію: „ничего во мнѣ нѣтъ прекраснаго. Развѣ вы не видите, что хвалите во мнѣ одни отрицательныя качества? Что я не питаю никакихъ злыхъ мыслей и желаній, и не дѣйствую по какимънибудь глупымъ капризамъ—въ этомъ еще не большая заслуга. Отъ этихъ отрицательныхъ добродѣтелей никому ни тепло, ни холодно, а только мнѣ скверно“. Какъ такъ? спросилъ я.—„Да такъ; я деликатенъ—это соблазняетъ того или другаго обращаться со мною назойливо; я уступчивъ—отъ этого многіе становятся требовательны ко мнѣ въ высочайшей степени; я не отказываю въ услугѣ, когда могу—и непремѣнно находятся такіе, которые думаютъ, что я обязанъ дѣлать имъ всякія услуги; я незлобивъ—и вотъ почти постоянно чувствую, что кто нибудь старается взобраться мнѣ на шею и хорошенько осѣдлать меня“.

«Все это пустяки», прибавилъ онъ, смѣясь:—«да

прекраснаго-то тутъ мало. Я немножко порчу людей. Настоящій прекрасный человѣкъ тотъ, кто ихъ исправляетъ, кто имѣетъ силу надъ человѣческими душами. Люди, какъ лошади, любятъ, чтобы ими правили твердо и сидѣли на нихъ крѣпко. А я видите какой—ни на кого не сажусь, да и самъ на себя сѣсть не позволяю“.

Станный человѣкъ! Такъ мы ничего отъ него и не узнали. Я въ особенности приставалъ къ нему съ распросами; я говорилъ ему, что онъ самый скрытный человѣкъ въ мірѣ, что странно, почему онъ не можетъ открыться даже людямъ такимъ близкимъ, какъ я, что имѣетъ же его жизнь какую нибудь исторію, которая непременно любопытна, какъ всякая исторія души человѣческой.

„Не нужно, не нужно!“ отвѣчалъ онъ, смѣясь:— „совершенно излишніе разговоры! Вѣдь вы меня знаете? Чего же вамъ больше?“

Наконецъ, однажды онъ проговорился. „Исторія!“ сказалъ онъ:— «пожалуй, исторія и была; да только трудно, ужасно трудно рассказать ее“.

Попробуйте! приставалъ я.

„Хорошо. Въ самомъ дѣлѣ, я подумаю объ этомъ. Только нужно вѣдь это написать, никакъ не иначе. Придется пожалуй возиться... Ну, когда нибудь!“

Это *когда нибудь* тянулось долго. Изрѣдка я

напоминалъ ему обѣщаніе, но онъ отвѣчалъ, что ему некогда. Я думалъ уже, что дѣло пропало.

Пять лѣтъ тому назадъ, ему пришлось по службѣ ѣхать въ провинцію, и съ тѣхъ поръ онъ живетъ въ порядочной глуши. Мы переписываемся; но онъ не мастеръ на простыя письма, часто подолгу молчитъ; за то его рѣдкія письма, писанныя всегда по какому нибудь особому случаю, полны питательнѣйшаго содержанія. И вотъ не такъ давно я былъ обрадованъ толстѣйшимъ пакетомъ: письмо въ шесть почтовыхъ листовъ! Оказалось, что тутъ по крайней мѣрѣ часть той исторіи, которой я добивался. Въ началѣ онъ кой кого ругаетъ, говоритъ о скукѣ своей жизни, потомъ объ обстоятельствахъ, неожиданно оставившихъ его на нѣкоторое время безъ дѣла, и затѣмъ продолжаетъ:

„Я вспомнилъ свое обѣщаніе. Знаете ли, почему я такъ долго откладывалъ его исполненіе, да и теперь такъ неохотно приступаю къ нему? Занимаясь опытною наукою, я привыкъ къ порядку, правильности, ясности; я когда-то очень любилъ математику. Но тутъ я боюсь, что не сумѣю выражаться спокойно и отчетливо, что какъ нибудь невольно собьюсь въ туманъ или въ сторону... Попробую, однако.

„Дѣло въ томъ, что я — существо нѣсколько

особенное, не менѣе особенное, чѣмъ, напримѣръ, Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Съ ранняго дѣтства, съ тѣхъ поръ, какъ только я себя помню, я постоянно чувствовалъ въ себѣ эту особенность, сознавалъ, что она лежитъ въ самой глубинѣ моей души, въ самомъ корнѣ моей натуры. Въ извѣстномъ смыслѣ ее можно бы назвать идеализмомъ, или даже гамлетизмомъ; но гораздо лучше будетъ, если я, безъ всякихъ околичностей, расскажу вамъ, какъ было дѣло.

„Помню я себя очень рано; мнѣ мерещится даже, какъ нянька держитъ меня на рукахъ передъ печью, въ которой варится картофель,—старое холерное время, когда карантинны остановили подвозъ съѣстныхъ припасовъ въ нашъ городокъ, и многимъ приходилось питаться однимъ картофелемъ. Но все это—сумерки, почти темная ночь для моей памяти. Съ величайшей живостью я помню, какъ вдругъ прошли эти сумерки, помню первое пробужденіе яснаго сознанія; оно дѣйствительно походило на яркій лучъ солнца послѣ темной ночи. Это случилось въ день смерти отца. Мнѣ было тогда лѣтъ шесть, но до сихъ поръ сохранились въ моей памяти всѣ подробности. Въ ту ночь меня душилъ кошмаръ. Казалось мнѣ, что я лежу въ постели, и что къ самому моему лицу наклонилось какое-то страшное чудовище.

Я не имѣлъ силы пошевелинуться и не могъ взглянуть на него; а оно, наклонясь къ самому моему уху, глухимъ голосомъ ревѣло: „угу! угу!“... Меня разбудили, и какъ только я раскрылъ глаза, я увидѣлъ, что вокругъ меня дѣлается что-то необыкновенное. Домъ былъ полонъ людей, плакали, разговаривали какимъ-то страннымъ, до сихъ поръ мною неслыханномъ тономъ. Чтò такое? Отецъ умеръ. Не помню первыхъ минутъ; едва мелькаетъ въ моей памяти трупъ отца, который я увидѣлъ изъ другой комнаты. Но когда сознание мало по малу прояснилось, оно все перешло въ чувство какого-то особеннаго изумленія. Проходили сутки, потомъ другія, третьи, а я все старался понять, чтò такое дѣлается кругомъ и напряженно вглядывался и вслушивался. Все кругомъ меня, лица слова, мысли и движенія, все казалось мнѣ чѣмъ-то незнакомымъ и чуждымъ. А чтò такое было—все это чужое и непонятное? Это была просто *жизнь*, это были проявленія жизни, разбуженныя и ускоренныя смертью. Не съумѣю выразить этого дѣтскаго настроенія точными словами; скажу, какъ могу. Въ тѣ минуты, я какъ будто въ первый разъ и съ глубокой ясностію чувствовалъ, что я чужой для жизни, что я такъ сказать неживой, неживущій человѣкъ. Жизнь стала для меня загадкою, для которой нужно искать разрѣшенія, темнымъ

дѣломъ, требующимъ уразумѣнія. Все это время я былъ тихъ и неподвиженъ; даже въ тѣ минуты, когда подступала печаль, когда слезы текли по моему лицу, меня не оставляла моя дума, и я напряженно вникалъ; что же это такое? Я тогда же замѣтилъ—и это меня поразило—что братъ мой, почти мой ровесникъ, глубоко отличается отъ меня. Онъ очевидно жилъ, тогда какъ я не жилъ. Онъ принималъ во всемъ прямое, живое участіе; никакая дума не тяготѣла надъ нимъ и не отталкивала его отъ жизни. Послѣ самаго горькаго плача, онъ скоро осушалъ глаза и весьма бодро вмѣшивался въ какія нибудь хлопоты, бѣгалъ по двору, даже совершилъ какую-то шалость по случаю раздачи нищимъ денегъ и калачей. Я же только смотрѣлъ и думалъ свою изумленную думу.

„Говорю вамъ все это подробно потому, что, для объясненія моего душевнаго строя, все это имѣетъ величайшую важность. Представьте, что я, какъ вытаращилъ тогда глаза на жизнь, такъ и остался на долгое время съ вытаращенными глазами, что и въ моемъ отрочествѣ и въ моей юности все мнѣ казалось чужимъ и непонятнымъ, и что это глубокое и тяжелое раздвоеніе мало помалу утратило свою рѣзкость только въ совершенно зрѣломъ возрастѣ мужества, но навсегда оставило во мнѣ свои слѣды.



«Такова ужъ, видно, моя натура. Въ самомъ дѣлѣ, ужъ тутъ не можетъ быть и рѣчи о *вліяніи окружающей среды*. Согласитесь, что когда дѣло идетъ о шестилѣтнемъ мальчишкѣ, выросшемъ въ уѣздномъ городкѣ Россійской имперіи, то тутъ не можетъ быть и рѣчи о кружкѣ in der Stadt Moskau, о гегелевской энциклопедіи и тому подобныхъ предметахъ, на которые жалуется Гамлетъ Щигровскаго Уѣзда. Тутъ уже ясно, не среда, а натура есть причина всякихъ раздвоеній и гамлетообразныхъ настроеній. Мнѣ кажется, Тургеневъ погрѣшилъ, слишкомъ отчетливо указывая на причины, создавшія героя его удивительнаго разсказа.

«Что касается до меня, то, ссылаясь на свою натуру, я имѣю для этого весьма твердыя доказательства. Въ самомъ дѣлѣ, въ своемъ идеализмѣ, или гамлетизмѣ, или какъ хотите, я похожъ на мать, а мать моя была въ этомъ отношеніи весьма замѣчательнымъ образчикомъ.

«Прежде всего, пожалуйста, не думайте, что я намѣренъ кощунствовать. Въ этомъ нѣтъ никакой надобности. Мать моя была невиннѣйшее и чистѣйшее созданіе, какое только я знаю. На ней не лежить не только какого нибудь самаго маленькаго грязнаго пятнышка, а даже малѣйшей темной полоски. Я не помню между нами даже

тѣни, даже возможности неудовольствія. Чѣмъ чаще я обращаюсь къ прошлому, къ той жизни, которая тогда насъ окружала, и которою ни я, ни она не жили, тѣмъ отраднѣе я останавливаюсь на свѣтлыхъ чертахъ матери.

«Дѣло въ томъ, что эта жизнь была въ сущности—ужасна. Первые мои открытія, первые мои мальчишескія наблюденія, которыя я, разумѣется, впослѣдствіи часто провѣрялъ и уяснялъ себѣ, составляютъ картину самаго мрачнаго характера. Вездѣ какъ будто однѣ адскія краски, смѣшеніе краснаго цвѣта съ чернымъ. Я не буду распространяться о взяткахъ и всякихъ притѣсненіяхъ, о дикомъ пьянствѣ и развратѣ, о соблазненныхъ женщинахъ и незаконныхъ дѣтяхъ, брошенныхъ гдѣ нибудь въ деревнѣ и умирающихъ отъ недостатка присмотра. Все это—вещи довольно обыкновенныя и далеко не самыя худшія изъ тѣхъ, которыя я видѣлъ. Въ тотъ ранній возрастъ,

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы  
Всѣ впечатлѣнья бытія,

мнѣ попадались циническія, отвратительныя связи стариковъ и старухъ, попадались случаи хуже кровосмѣшенія, наконецъ убійство, отравы, задушеніе.

«Помню я въ особенности одного барина, кото-

рый еще приходился намъ сродни и долго носился передо мною, какъ самое живое и яркое лицо, какъ человѣкъ, въ которомъ жизнь была полнымъ ключомъ. Это былъ здоровый, красивый и бойкій баринъ, пенстошимо-веселый, въ полномъ смыслѣ душа общества. Онъ не пошелъ дальше третьяго класса гимназій, но писалъ чрезвычайно красивымъ почеркомъ и съ большимъ толкомъ, хотя при этомъ соблюдалъ свое собственное правописание и словосочиненіе. Былъ онъ на службѣ и женатъ. На службѣ онъ былъ дока, грабилъ страшно и велъ дѣла свои отлично. Жена его, крошечная женщина была тоже бойкая барыня, любила мужа безъ памяти и была красавица, какихъ мало. Но, хотя они жили ладно, мужъ былъ большой волокита и соблазнялъ замужнихъ женщинъ и дѣвицъ. До сихъ поръ передо мною мелькаютъ обѣды и вечеринки въ его домѣ, пирушки, на которыхъ главнымъ лицомъ, главнымъ свѣтиломъ былъ самъ хозяинъ. До сихъ поръ какъ будто вижу его мощную фигуру, его красивое, оживленное лицо, великолѣпныя кудри, и какъ будто слышу его смѣхъ, звучащій самою кипучею, самою удалою веселостью.

«Кончилось все это очень дурно. Дон-Жуанъ, тысячу разъ попадавшійся въ разныхъ бѣдахъ и тысячу разъ изъ нихъ вывертывавшійся, оказался,

наконецъ, замѣшаннымъ въ одно уголовное дѣло. Онъ участвовалъ въ составленіи фальшиваго духовнаго завѣщанія. Долго онъ и тутъ бился и изворачивался; жена его бросила все и цѣлая шесть лѣтъ съ удивительной энергіей хлопотала въ Петербургѣ, обивая пороги разныхъ дѣловыхъ людей и высшихъ присутственныхъ мѣстъ. Ничего не помогло: послѣ десятилѣтняго слѣдствія и разбирательства его сослали въ Сибирь. Не колеблясь ни минуты, жена поѣхала за нимъ и увезла съ собою дочь, милую дѣвушку, которая больше чѣмъ кто нибудь, напоминала мнѣ Татьяну Пушкина. Всѣ трое они умерли тамъ, очень скоро послѣ ссылки, и очень быстро слѣдуя другъ за другомъ.

«Любопытно это уголовное дѣло, въ которое такъ неосторожно замѣшался мой веселый взяточникъ и Дон-Жуанъ. Дѣло это — помѣщичье, дѣло богатыхъ наслѣдствъ и завѣщаній. Треть сыновьямъ богатаго помѣщика наскучило ждать смерти отца. Они согласились между собою, какъ-то ловко придумали старика, и потомъ спокойно стали владѣть каждый своею частью имѣнія. Двое изъ нихъ были особенно дружны между собою; черезъ нѣсколько времени имъ пришла мысль — извести третьяго брата, который, сверхъ своей доли имѣнія, виноватъ былъ также тѣмъ, что не

принималъ прямого участія въ убійствѣ отца. И это предпріятіе было исполнено совершенно благополучно. Послѣ того, два оставшіеся брата долгое время жили спокойно, оставаясь въ большой дружбѣ и часто навѣщая другъ друга. Наконецъ, одинъ изъ нихъ не выдержалъ, и попробовалъ, пользуясь своими дружескими отношеніями, отравить другаго. Отравить-то онъ отравилъ и завѣщаніе фальшивое сдѣлалъ, но не успѣлъ совершенно схоронить концы. Дѣло какъ-то обнаружилось, и началось слѣдствіе.

«Исторія, однако же, этимъ не кончается. Разумѣется, допросы, свидѣтели — все это ничего не значитъ; если бы дѣло шло только официальнымъ судебнымъ порядкомъ, то его можно бы было замазать и устроить какъ нельзя легче. Но, къ удивленію и несчастію, на цѣлую губернію стали нападать какой-то ужасъ. Всѣ стали говорить о дѣлѣ, какъ о страшномъ злодѣйствѣ, тогда какъ въ судѣ это дѣло нужно было представить, какъ пустую ошибку и недоразумѣніе. Помѣщикъ принялъ свои мѣры противъ слуховъ. Какъ только какойнибудь крестьянинъ или дворовый изъ усадьбы его покойнаго брата отправлялся въ городъ, онъ непременно погибалъ, или пропадалъ на дорогѣ, или скоростижно умиралъ по пріѣздѣ въ городъ. Такихъ случаевъ насчитали до десятка.

«Разумѣется, тутъ или вовсе не начиналось дѣла, или если оно начиналось, то стараніями помѣщика тотчасъ было погашаемо. Но ничто не помогло: несмотря на всѣ усилія, помѣщикъ не ушелъ отъ каторги.

«Такова была эта жизнь, на которую я тогда безуспѣшно таращилъ глаза. Припоминая и соображая теперь всю обстановку, всю тогдашнюю житейскую атмосферу, я не вижу въ ней ни единой свѣтлой черты. Свѣтлаго и чистаго въ ней только и было что сиреневые кусты въ нашемъ саду, да моя мать.

«Среди всѣхъ этихъ черныхъ и мелкихъ и горячихъ страстей, мать моя является мнѣ чистою голубицею, и именно потому, что въ ней не было никакой страсти, никакой глубокой и сильной житейской черты. Она была чужда жизни, и не освоилась съ нею до самой смерти. Чтò она ни говорила, и чтò она ни дѣлала, все это было чистѣйшее подражаніе, подражаніе наивное, усиленное и добросовѣстное, но совершенно неудачное.

«Припоминаю случай, который, по своей необычайной странности, рѣзко запечатлѣлся въ моей памяти. Дѣло въ томъ, что мать моя, эта чистая голубица, какъ я сейчасъ сказалъ, однажды меня высѣкла. Согласитесь, что это очень любопытно. Я тогда только что началъ ходить въ школу;

увлекаемый непреодолимымъ желаніемъ бѣгать, я оставилъ гдѣ-то на минуту свои книги; въ ту же минуту, разумѣется, онѣ были у меня украдены.

«Вину свою я понималъ хорошо и очень боялся, чтобы мнѣ не досталось отъ кого нибудь изъ семейства, но только никакъ не отъ матери. Когда я вернулся домой, мать, конечно, сочла нужнымъ сильно побранить меня. Но ея упреки и наставленія я выслушалъ совершенно спокойно; я чувствовалъ, что она не умѣетъ сердиться, что тутъ нѣтъ и тѣни гнѣва, а все дѣлается потому, что такъ нужно.

«Тѣмъ, я думалъ, все и кончится. Вышло однакоже не такъ. Мать задумала на этотъ разъ разыграть роль строгой воспитательницы и прибѣгнуть къ самому несомнѣнному педагогическому средству для моего исправленія. Но какъ исполнить этотъ благоразумный замыселъ, вполне предписываемый долгомъ матери? Дѣло было ужасно трудное и разрѣшилось престраннымъ образомъ.

«Наступилъ вечеръ; мы поужинали и наконецъ пошли въ дѣтскую спать. Только что мы улеглись и нянька унесла свѣчу, какъ входитъ въ дѣтскую мать. Въ потемкахъ она сдергиваетъ съ меня одѣяло и начинаетъ слабо хлестать меня какими-то прутиками, непричинявшими ни малѣйшей боли. Я, конечно, пустился ревѣть, какъ этому и слѣдуетъ быть при всякомъ надлежащемъ сѣче-

ніи. Мать скоро ушла, какъ я полагаю, совершенно довольная своимъ педагогическимъ героизмомъ, тѣмъ, что сдѣлала *какъ другія*, что поступила, какъ *нужно*. Увы! Она и не подозрѣвала, какъ мало тутъ *настоящаго*.

«Помню и другія сцены и случаи, рѣзко рисующіе природу матери. Гостили мы какъ-то у тетки, родной сестры матери. Домъ тетки иногда захлебывался народомъ и вообще кипѣлъ той жизнью, о которой я говорилъ вамъ. Въ обществѣ, среди этой непонятной для нея жизни, матери моей, бывало, и не слышать и не видать. Но зато, когда никого не было дома, когда оставались тетка и дѣти, мать моя предавалась пристрастнымъ занятіямъ или, такъ сказать, обнаруженіямъ самой себя. Она была тогда еще молода; послѣ отца она осталась лѣтъ двадцати съ небольшимъ; но кромѣ того она всю жизнь сохраняла въ себѣ что-то дѣвическое и никогда не имѣла ничего *бабьяго*. И вотъ у тетки она, бывало, выходитъ въ пустую залу съ «новѣйшимъ пѣсенникомъ» въ рукахъ. Потихоньку расхаживая и охорашиваясь, она начинаетъ тоненькимъ и слабенькимъ голосомъ пѣть по этому пѣсеннику: «Стонетъ сизый голубочекъ», «Среди долины ровныя» и т. д. Тетка, бывало, сидитъ и что нибудь работаетъ. Пѣніе продолжается часъ, или полтора.



„Всего больше меня уже тогда удивляло обыкновенное заключеніе этой сцены. Напѣвшись вдоволь, мать закрывала пѣсенникъ и каждый разъ обращалась къ теткѣ все съ тѣми же словами. Именно, она очень нѣжно и плавно произносила: *извини, милая сестрица, что я тебя беспокою*. И тонъ, и смыслъ, и самый слогъ этихъ словъ приводили меня въ недоумѣніе. Обыкновенно мать съ теткой обращалась запросто, а тутъ вдругъ церемоніи! Да и говорили они всегда иначе: *извини, милая сестрица*—было явное сочиненіе, и сочиненіе въ томъ самомъ нѣжномъ духѣ, въ какомъ были пѣсни. Поэтому выходилъ рѣзкій контрастъ, когда тетка, женщина вполне живая, отвѣчала обыкновеннымъ человѣческимъ языкомъ: *полно, Саша, что за беспокойство*.

„У тетки мы только изрѣдка гостили, но постоянно мы жили у бабушки, гдѣ было не до пѣсенъ. Бабушка... Но вѣдь такъ я, пожалуй, никогда не кончу своихъ разсказовъ о матери. Будетъ и этого. Мнѣ хотѣлось только сказать, что я живо помню мать, и не могу ошибиться въ ея духовной природѣ. Изъ всѣхъ окружающихъ, я одну ее любилъ и вполне понималъ. Она была со мною говорливѣе и откровеннѣе, чѣмъ съ кѣмънибудь изъ взрослыхъ. При этомъ она больше или меньше принимала на себя роль старшаго чело-

вѣка, вполне опытнаго и знающаго свѣтъ и людей. Увы! на самомъ дѣлѣ она была такимъ же непонимающимъ и чуждымъ жизни ребенкомъ, какъ и я. Бывало, цѣлуя ея руки и глядя въ ея кроткое лицо, я слушалъ ея жалобы, ея сужденія объ окружающихъ лицахъ и дѣлахъ, и думалъ про себя: нѣтъ! это не то; это чужія рѣчи, подслушанныя у другихъ слова; мать только показываетъ видъ, будто она взрослая, будто она понимаетъ эту жизнь и участвуетъ въ ней такъ же, какъ и другіе.

„Итакъ, я вполне увѣренъ, что то мое душевное настроеніе, о которомъ я говорю, я наслѣдовалъ прямо отъ матери, а не обязанъ имъ «средѣ», или какимъ нибудь случаямъ. Сама природа, какъ видно, подшутила надо мною эту шутку. Произведя меня на свѣтъ, она отрѣзала пуповину, которая соединяетъ другихъ людей съ жизнью, и пустила меня гулять, не назначивъ мнѣ ни мѣста, ни времени, не давши мнѣ ни житейскаго инстинкта, ни родимаго улья. Тутъ есть, какъ вы видите, нѣкоторое сходство съ тѣмъ совершеннымъ *отсутствіемъ оригинальности*, на которое такъ горько жаловался Гамлетъ Шигровскаго уѣзда.

„Такимъ образомъ, мнѣ приходилось, такъ сказать, собственными средствами добиваться пониманія жизни. Какая работа! Какъ дорого мнѣ

стоило разрѣшеніе этой задачи! Все, что другимъ дается даромъ, что приходитъ къ нимъ само со- собою, мнѣ приходилось брать съ бою, пріобрѣтать тяжелыми усиліями.

„Быть какъ *весь*, походить на другихъ людей, смотрѣть на жизнь такъ, какъ они смотрятъ и участвовать въ ней, какъ они участвуютъ—вотъ въ чемъ состояла вся задача. Тысячи людей ни мало этимъ не затрудняются; для меня же это составляло египетскую работу, составляло затрудненіе, которое я едва одолѣлъ упорною борьбою. Такъ что, когда наконецъ я кое-какъ совладѣлъ съ дѣломъ, оказалось, что уже первые сѣдые волосы начинаютъ являться въ свой положенный срокъ...

„Разскажу все по порядку. Сначала дѣло пошло очень хорошо. Прежде всего приходилось мнѣ заняться собственнымъ обученіемъ и дать себѣ образованіе, какое слѣдуетъ имѣть всякому хорошо воспитанному человѣку. Это первое мое предпріятіе уподобиться другимъ людямъ пошло весьма успѣшно, хотя обстоятельства отнюдь мнѣ не благопріятствовали. По смерти отца, домъ нашъ что-то скоро продали, и мы очутились въ очень стѣсненномъ положеніи. Меня учили кой-чему и какъ попало. Пробовали было пихнуть меня къ дядѣ, человѣку весьма достаточному, но тотъ прочелъ

мнѣ длинное и весьма неблагоклонное наставленіе и ограничился тѣмъ, что нанялъ мнѣ учителя изъ семинаристовъ, коротенькаго человѣка съ большимъ носомъ. Этотъ учитель училъ меня около года, и училъ хорошо, но обходился со мной недружелюбно, и въ видѣ наказанія давалъ мнѣ щелчки въ лобъ. Затѣмъ, я былъ предоставленъ на волю Божию. Но, какъ я сказалъ, я уже тогда самъ о себѣ заботился. Мнѣ было лѣтъ двѣнадцать, когда у меня сформировалось твердое желаніе приготовиться къ вступительному экзамену въ университетъ. Понемногу я сталъ приводить это желаніе въ исполненіе. Надобно замѣтить, что въ нашемъ городѣ не было гимназіи, и слѣдовательно не было ни одной точки, гдѣ бы уровень познаній подымался до высоты гимназическаго курса. Но я воспользовался всею тою массою учености, какую нашелъ вокругъ себя. Жилъ у насъ въ городѣ ссыльный уніатъ, человѣкъ одинокій, чужой всѣмъ, его окружавшимъ; онъ охотно сталъ заниматься со мною и учить меня по латынѣ и по французски. Зналъ онъ эти языки весьма посредственно, но все-таки зналъ. Исторію, географію, русскую словесность я приготовилъ самъ, безъ руководителя; нужно было только достать книги, и я помню, какъ я долго ухаживалъ за однимъ лысымъ и пьяненькимъ господиномъ. Питая любовь

къ наукамъ, онъ выписалъ себѣ великую новость тогдашняго времени: *Всеобщую исторію Смарагдова*. Вѣроятно, это былъ единственный экземпляръ въ цѣломъ городѣ, и я добился-таки того, что онъ побывалъ въ моихъ рукахъ. Но всего труднѣе было справиться съ математикой. Сначала, при помощи уніата и другихъ, дѣло шло еще довольно хорошо; но чѣмъ дальше, тѣмъ меньше я находилъ помощи у своихъ руководителей и, наконецъ, они вовсе меня оставили. Когда пришлось проходить логариѣмы, оказалось, никто въ городѣ не зналъ хорошенько, что это такое. Помню, какъ я бѣгалъ и хлопоталъ. Меня знали немножеко въ городѣ, зная, что я *подаю надежды*, и потому я довольно смѣло обращался къ разнымъ лицамъ за совѣтомъ и помощію. На этотъ разъ все было напрасно. Я попробовалъ было потревожить даже сѣдаго и краснаго старичка, отставного учителя гимназій, который жилъ у насъ на краю города въ своемъ собственномъ домѣ, въ три окна на улицу. Онъ слылъ у насъ свѣтиломъ учености, и всѣ знали, что у него въ кабинетѣ стоятъ какія-то книги въ бѣлой кожѣ. Но на мою просьбу онъ откровенно сказалъ мнѣ, что онъ, и когда учился, не зналъ хорошенько логариѣмовъ, а съ тѣхъ поръ, занимаясь другими предметами, успѣлъ совершенно позабыть ихъ.

„Дѣлать было нечего. Ученость моего родимаго городка была, очевидно, исчерпана мною до дна, и нужно было положиться на собственныя силы. Сидѣлъ я сидѣлъ надъ книгою, думалъ-думалъ, и кончилъ-таки тѣмъ, что одолѣлъ логариѳмы. Помню свою радость; помню восторгъ, въ который пришелъ мой уніать. Когда онъ убѣдился, что я не обманываюсь, когда увидѣлъ, что *я понимаю лучше и быстрее его*, добрый старикъ чуть не заплакалъ отъ удовольствія. Онъ называлъ меня гениемъ, онъ предвѣщалъ мнѣ великую и славную будущность. Увы! Онъ, какъ видно, не зналъ, что есть въ жизни тысячи и тысячи вещей, которыя гораздо труднѣе сдѣлать, чѣмъ самому понять логариѳмы!

„Обращаюсь къ своему разсказу. Такимъ образомъ, къ шестнадцати годамъ, то есть какъ разъ къ наименьшему законному сроку, я вполне приготовилъ себя къ поступленію въ университетъ. Оставалось только добратъся до университета. Видя мои успѣхи, какія-то добрыя души пожертвовали на мою поѣздку двадцать рублей серебромъ.

„На эти деньги нужно было добратъся до Петербурга, а до него было полторы тысячи верстъ. Поѣхалъ я одинъ. Часть дороги сдѣлалъ на баркѣ, которую тянули бичевою, другую часть на троечникахъ, въ рогожной кибиткѣ напередѣ повозки.

Меня надули рубля на три, а впрочемъ я доѣхалъ благополучно.

„И вообще, тутъ уже все пошло благополучно и не было нужды въ какихъ нибудь особенныхъ усиліяхъ. При самомъ вступительномъ экзаменѣ, профессора тотчасъ замѣтили, что я самоучка, и это послужило мнѣ въ великую пользу. По отмѣткамъ, которыя я получилъ, не только меня приняли въ студенты, но даже дали мнѣ стипендію, шесть рублей серебромъ въ мѣсяцъ. Годъ я пробылъ на эти деньги, но увидѣлъ, что дѣло идетъ плохо, и перешелъ въ медицинскую академію, гдѣ такъ легко принимали на казенный счетъ. Тутъ кончились мои первыя волненія. Книгъ передо мною открылись цѣлыя библіотеки. Лекціи, лабораторіи, музеи—все было къ моимъ услугамъ. Оставалось только работать. И я работалъ со всѣмъ успѣхомъ, какого только могъ желать. Я одолѣвалъ курсъ за курсомъ, предметъ за предметомъ; всегда былъ изъ самыхъ лучшихъ, всегда получалъ похвальные отзывы и медали; наконецъ, достигъ ученыхъ степеней и правъ, съ ними сопряженныхъ; но главное—вполнѣ достигъ права считать себя образованнымъ человекомъ.

„Да онъ хвастунъ и самохвалъ! вѣроятно сказали бы многіе, прочитавши это. Но на васъ я надѣюсь, вы этого не скажете. Вы хорошо нови-

маете, что во всемъ, что я сейчасъ разсказалъ, я не приписываю себѣ никакого достоинства. Такъ я смотрѣлъ на это дѣло отъ самыхъ юныхъ лѣтъ, такъ смотрю и теперь. Меня всегда нѣсколько удивляли обыкновенныя рѣчи о „вліяніи среды“, о „борьбѣ съ гнетомъ обстоятельствъ“ и т. п. Такъ какъ я былъ глубоко чуждъ жизни, то мнѣ казалось, что среда не имѣетъ надо мною никакой власти, что у нея нѣтъ, такъ сказать, никакой точки приложенія ко мнѣ. Поэтому, мое отношеніе къ средѣ всегда было таково, что не она на меня дѣйствовала, а я на нее. Я налегалъ на нее и она подавалась и очищала мнѣ дорогу; всякій шагъ нужно было завоевать, но я не видѣлъ тутъ ничего страннаго. На всякое встрѣчное препятствіе я смотрѣлъ точно такъ, какъ обыкновенно смотреть на экзамены. Выдержанъ экзаменъ—хорошо; невыдержанъ—значить, не стоишь того, чего добивался. Была у меня силѣнка, я и работалъ ею, въ полной увѣренности, что завоюю столько, сколько соотвѣтствуетъ размѣрамъ моей силы. Поэтому, я никогда ни на что и ни на кого не жаловался, никого не обвинялъ въ моей судьбѣ; я считалъ это стыдомъ и малодушіемъ.

„Въ самомъ дѣлѣ, если бы я былъ человѣкъ въполнѣ живой, если бы жизнь несла меня своею теплою волною, кружила меня своими круговоро-



тами, увлекала въ ту или другую сторону, я могъ бы иногда, оглянувшись, пожаловаться на уносившее меня теченіе. Но этого не было; я въ полномъ смыслѣ слова *самъ создавалъ свою судьбу*; я привыкъ къ этому съ дѣтства и долго думалъ, что это совершенно въ порядкѣ вещей. Слѣдовательно, тутъ не могло быть ни жалобъ, ни гордости. Прибавьте къ этому, что силу свою я считалъ вовсе небольшою; вокругъ себя я всегда видѣлъ людей, которые были сильнѣе меня; мнѣ приходилось постоянно напрягаться, и все-таки, какъ ни трудно бывало мнѣ, я никогда не приходилъ къ мысли, будто я имѣю на чтонибудь право безъ соответствующаго усилія съ своей стороны. Поэтому, я не завидовалъ и не гордился. Въ каждой неудачѣ и въ каждомъ своемъ недостаткѣ я обвинялъ только самого себя. Я смотрѣлъ самъ на себя, какъ скульпторъ на свое произведеніе, я самъ себя лѣпилъ и обтачивалъ. Живо помню, что у меня нѣкоторое время мелькала мысль—измѣнить черты своего лица, сдѣлать ихъ болѣе правильными. Я не остановился на этой мысли только на основаніи того соображенія, что было *уже поздно*, и потому ограничился увѣренностію, что если не черты, то *выраженіе* лица все еще вполнѣ отъ меня зависитъ.

„Таковъ былъ этотъ странный взглядъ, это

противоестественное настроеніе, которое, однакоже, какъ я вамъ докладывалъ, было вложено въ меня самую природою. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, эта противоестественность обнаруживалась очень явно, но я не обращалъ на нее вниманія. Были, напри- мѣръ, науки, которыя не гармонировали съ есте- ственнымъ складомъ моего ума; но я ломалъ себя, и добивался-таки хорошаго изученія.

„Всего хуже здѣсь было то, что все это время я былъ очень доволенъ собою. Пока я себя обу- чалъ и образовывалъ, пока достигалъ до того, что, подобно Гамлету Щигровскаго уѣзда, наконецъ „понималъ Гегеля и зналъ Гёте наизусть“, я воображалъ, что занимаюсь чрезвычайно важнымъ дѣломъ, и очень радовался, что оно идетъ успѣшно. Между тѣмъ, этотъ успѣхъ служилъ къ моей па- губѣ. Онъ ослѣплялъ меня, отвлекалъ мое вни- маніе и давалъ полный просторъ моему странному душевному направленію.

„Пока я читалъ книги и изучалъ всякія науки, отчужденіе отъ жизни во мнѣ развилось и выясни- лось въ отчетливыя формы. Этихъ формъ двѣ: положительная и отрицательная. Положительная состоитъ въ томъ, что мы создаемъ для жизни идеалъ, отрицательная—въ томъ, что мы дѣйстви- тельную жизнь ни въ грошъ не ставимъ.

„Очень рано началась у меня идеализація, и

такъ сильна была она, что, опять, я могу приписать ее только своей природѣ, а не чему другому. Съ дѣтства передо мною стали носиться какія-то чудныя, радужныя явленія. Незвѣстно откуда, изъ какой-то недостижимой глубины души возникли во мнѣ свѣтлые образы, чистыя чувства, сладкіе звуки, представленія героическихъ чувствъ и дѣйствій. Гдѣ и какъ все это существуетъ, я не зналъ, но твердо вѣрилъ, что все это не только есть, но и непременно должно быть. Очерки этихъ видѣній были неопредѣленные, но несмотря на то, они потрясали меня до глубины сердца, владѣли всею моею душою. Какъ будто какой-то огромный и прекрасный міръ таинственно прикасался ко мнѣ; какъ будто совершались какія-то сверхъестественныя откровенія.

„Не могу описать всей прелести, всей высоты, всей ослѣпительной яркости, въ которой являлись передо мною идеалы. Это было дѣйствительно царство свѣта и красоты. Удивительныя молніи, безконечно-прекрасныя зарницы безпрестанно вспыхивали въ моей душѣ. Казалось бы, откуда имъ было взяться? А между тѣмъ, онѣ заливали всего меня своимъ сіяніемъ.

„Я выражусь вполне точно, если скажу, что у меня все стало двоиться въ глазахъ, и что это двоенье понемногу укрѣпилось и стало хрониче-

скимъ. Каждый предметъ, который занималъ и поражалъ меня, являлся мнѣ вдвойнѣ: во первыхъ, въ своемъ идеальномъ видѣ, и во вторыхъ—въ своей дѣйствительности. Эти два образа отдѣлялись одинъ отъ другаго чрезвычайно рѣзко. Смѣшать ихъ или слить я никакъ не могъ и вѣрилъ не въ дѣйствительный, а въ идельный. Поясню это примѣрами.

„Изъ дѣтства на меня сильно дѣйствовали звонъ колокола, сіяніе луны, церковное пѣніе, дымъ кадила, стихи, и тому подобное. Но это дѣйствіе было не простое, а всегда, такъ сказать, преломленное и отраженное.

„Звонъ колокола возбуждалъ во мнѣ высокое и чистое благоговѣніе. Но при этомъ мнѣ всегда воображался другой храмъ и другой народъ, спѣвацій по звону въ храмъ. Наша же церковь, по моему, не гармонировала съ этимъ звономъ; я зналъ, какъ она стара и бѣдна; и народъ, собиравшійся на звонъ, я также зналъ; я зналъ, что въ немъ нѣтъ благоговѣйнаго чувства, которое отзывалось во мнѣ.

„Любилъ я свѣтъ луны и всегда любовался лунными ночами. Но при этомъ мнѣ неотступно мерещилась какая-то невѣдомая сторона, какіе-то чудные сады и зданія, на которые падаетъ, или могъ бы падать, или долженъ бы былъ падать этотъ самый лунный свѣтъ.

„Дымъ кадила, прорѣзываемый лучами солнца, казался мнѣ чѣмъ-то величественнымъ и необыкновенно ласкалъ мой глазъ. Но меня возмущала кадильница, измятая, закопченная. Притомъ мнѣ воображался другой, совершенно чистый, идеальный дьяконъ. А этотъ..... я вѣдь его знаю, онъ человѣкъ хотя лысый, но дрянной и глупый; вижу я, зачѣмъ онъ посматриваетъ по сторонамъ во время своихъ поклоновъ, и никакъ не могу я помириться съ его грязными пальцами и нелѣпо сложеннымъ кулакомъ.

„Всего яснѣе дѣло будетъ на стихахъ. Казалось бы, чего проще? Любишь стихи, вотъ они на лицо, наслаждайся ими. Но мое наслажденіе было далеко неполно. Я чувствовалъ, что ни я, ни другіе не умѣютъ произносить стихи; я воображалъ ихъ въ чистыхъ устахъ человѣка, который самъ полонъ возвышенныхъ чувствъ, изображаемыхъ ими; въ этомъ идеальномъ чтеніи, казалось мнѣ, они получаютъ такое благозвучіе и трогательную силу, что при одномъ представленіи слезы набѣгали мнѣ на глаза.

«И вотъ, изъ такихъ образовъ и мечтаній я создалъ себѣ цѣлый міръ дивной красоты, цѣлую жизнь идеальнаго совершенства. Душа моя вся наполнилась этими образами, вся увлеклась этими стремленіями, вся жила этою жизнью. Какъ только

передо мною мелькнули первые проблески этого свѣтлаго міра, у меня была и могла быть только одна цѣль—достигнуть его во что бы то ни стало, дойти до тѣхъ людей, до явленій и фактовъ, которые вполнѣ принадлежать къ этому прекрасному міру.

«Я и пошелъ на встрѣчу къ нему, пошелъ съ твердой вѣрою и надеждою. И долго я шелъ, узнавалъ много людей, видѣлъ много мѣстъ, предавался многимъ занятіямъ, трудился усиленно и долго, и всетаки чувствовалъ, что я далекъ отъ обѣтованной земли. Казалось, она уходила передъ моими глазами по мѣрѣ того, какъ я подавался впередъ, какъ будто вся эта идеальная жизнь въ дѣйствительности была только миражемъ, только обманомъ воображенія.

«Но не будемъ забѣгать впередъ. Я говорю еще о годахъ своего ученія. Вы понимаете, что въ сравненіи съ моимъ идеальнымъ міромъ все окружающее меня должно было тускнѣть и обезображиваться. Отъ чистаго и яркаго свѣта, къ которому я обращалъ свои глаза, падала на дѣйствительность густая тѣнь ничтожества. Все, что я видѣлъ вокругъ себя, не имѣло въ моихъ глазахъ ни искры прекраснаго, все было грязно и мелко до высокой степени. И себя самого я считалъ существомъ ничтожнымъ, такъ что я не могъ прини-

мать себя даже за источникъ моихъ высокихъ мечтаній. Они были нѣчто святое, я же былъ пошлъ и грязенъ, хотя и возлагалъ на себя большія надежды, хотя и обѣщаль себѣ пробиться когда нибудь до того заколдованнаго міра, гдѣ все было такъ прекрасно и высоко. По временамъ я чувствовалъ сильное отвращеніе къ самому себѣ и ко всему, что мнѣ ни принадлежало, къ моимъ рукамъ, къ платью, къ сапогамъ, къ моему голосу и проч.

«Изъ этого вышло нѣчто не совсѣмъ хорошее. Пока я учился, пока занимался такимъ важнымъ дѣломъ, я сталъ очень небрежно слѣдить за собою въ другихъ отношеніяхъ. Я отлагалъ свою жизнь до другаго времени, я воображалъ, что только готовлюсь къ жизни, а между тѣмъ я уже жилъ и только не хотѣлъ замѣчать, что я живу. Я дружилъ и ссорился, радовался и злился; состраданіе, самолюбіе, чувственность—всякаго рода страсти и страстишки заговаривали во мнѣ. Но я смотрѣлъ на нихъ презрительно, я все это *не ставилъ въ счетъ*; такимъ образомъ, эти первые всходы добра и зла не укрѣпились и не разрослись, а дали пустоцвѣтъ. Это было очень дурно. Я смотрѣлъ свысока на то, что любилъ, и не отдавался ему всею душою. Живыя и теплыя струи пробивались въ душѣ глупаго мальчика, но онъ

не давалъ имъ цѣны, и онѣ изсякали. Съ другой стороны, я относился къ злу съ такимъ же равнодушіемъ. Случалось, что я лгалъ, обманывалъ, дѣлалъ маленькія подлости, и все это не ставилъ въ счетъ, не думалъ, чтобы это марало меня и клало на меня пятно. Послѣ всякой такой случайности я отряхивался, какъ гусь, попавшій въ воду, и думалъ: все это вздоръ; когда я *начну жить*, у меня, разумѣется, ничего подобнаго не будетъ. Точно также, въ первую эпоху юности, когда всего меня охватила жгучая жажда наслажденій, я пилъ, развратничалъ и предавался всякимъ мерзостямъ, но никогда, даже въ минуты самого сильнаго чада, я не отдавался потоку вполнѣ, и все думалъ: это такъ, мимоходомъ, не въ счетъ настоящей жизни. И въ самомъ дѣлѣ, мнѣ казалось, что разныя гадости, въ которыхъ мнѣ случалось запачкаться, спадали съ меня какъ шелуха, что я оставался цѣломудренъ послѣ всякаго распутства. Въ сущности же было не такъ; силы тратились и на душу ложились неизгладимыя черты.

«Такимъ-то страннымъ образомъ, пока я учился, я все откладывалъ, все выжидалъ, все готовился; а когда кончилось ученье, оказалось, что я ровно ни къ чему не готовъ. По выходѣ изъ академіи, я сейчасъ почувствовалъ страшную не-



ловкость. Послѣ первыхъ попытокъ, я опять на нѣсколько лѣтъ боязливо зарылся въ книги; но нужно же было наконецъ перестать прятаться; волей-неволей—я выступилъ въ жизнь, я началъ наконецъ настоящую жизнь.

«О молодость моя, молодость! Какъ трудно ты мнѣ досталась, какъ дорого мнѣ стоила! Эти годы, для другихъ такіе свѣтлые и радостные, были для меня годами муки и тяжелой, безотрадной борьбы. «Живу я»—говоритъ Гамлетъ Щигровскаго уѣзда—«словно въ подражаніе разнымъ мною изученнымъ сочинителямъ, въ потѣ лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконецъ, словно не по собственной охотѣ, словно исполняя какой-то не то долгъ, не то урокъ—кто его разберетъ!» Вотъ нѣчто подобное случилось и со мною. Сталъ я жить въ подражаніе того, какъ должно жить, какъ слѣдуетъ жить. Сталъ я ломать себя и сталъ изъ себя строить Богъ знаетъ что. Какихъ масокъ я на себя не надѣвалъ! Какихъ гримасъ не корчилъ! Бывалъ я и вдохновеннымъ юношею, и мрачнымъ страдальцемъ; говорилъ я на разные голоса, то чрезвычайно нѣжно и плавно, то отрывисто и съ восклицаніями, было даже время, что я наклонялъ голову на лѣвую сторону, чтобы походить на Александра Македонскаго.

«Но между тѣмъ, какъ я кривлялся такимъ обра-

зомъ, холодная тоска грызла меня и не давала мнѣ заиграться. Фальшь! Маска! Комедія! Этотъ голосъ постоянно раздавался во мнѣ. Одну за другою бросалъ я свои гримасы; я хотѣлъ настоящей, дѣйствительной жизни; и потому подражаніе скоро становилось мнѣ глубоко противно.

«Здѣсь именно мѣсто коснуться важнаго предмета—моихъ любовныхъ похожденій. Хотя я началъ ихъ рано, чуть ли не съ двѣнадцати лѣтъ и упражнялся въ нихъ усердно, но, разумѣется, я никакъ не могъ быть въ нихъ особенно счастливъ. Женщины не могли чувствовать большого расположенія къ человѣку, у котораго постоянно сидитъ какой-то странный гвоздь въ душѣ, и отдавали предпочтеніе другимъ, иногда даже весьма плохенькимъ господамъ, отъ которыхъ вѣяло бѣлымъ тепломъ и увлеченіемъ.

«А какія я глупости дѣлалъ — Боже, какія глупости! Когда вспомнишь, то и покраснѣешь, и головой мотнешь, и даже застонешь отъ досады! Увѣряю васъ, что никакимъ Чулкатуриннымъ и прочимъ лишнимъ людямъ, какъ Тургенева, такъ и другихъ нашихъ писателей, въ этомъ со мною не сравниться.

«Кончилось все это тѣмъ, что я впалъ въ отчаяніе и рѣшился оставить всякую борьбу. Жизнь мнѣ не давалась. Ни одна черта изъ моего

идеальнаго міра не сбывалась на дѣлѣ. Я чувствовалъ, что другіе пьютъ изъ этой чаши, но мнѣ, несмотря на всѣ мои усилія, не удалось и прикоснуться къ ней губами.

«Я опустилъ руки. Я притихъ и замолкъ. Каждое свое слово я считалъ или сочиненіемъ, или глупостью, и потому я пересталъ говорить. Свою радость и печаль, свои отношенія къ людямъ, каждое свое движеніе я находилъ или пошлымъ, или натянутымъ, и я постарался сократить ихъ сколько возможно. Я двигался и говорилъ лишь на столько, чтобы не показаться страннымъ, и былъ радъ, что меня не замѣчали.

«Такъ прошло нѣсколько лѣтъ. Я не побоялся бы тогда смерти, потому что жить мнѣ тогда рѣшительно было не для чего.

«И что же вы думаете? Вѣдь это прошло, какъ проходитъ тяжкая, но не смертельная болѣзнь. Годы молчанія и тишины отрезвили меня и успокоили, какъ крѣпкій сонъ. Я думалъ, однако, что мнѣ придется дойти до могилы въ этой сонной апатіи. Но случились со мной неожиданно вещи, отъ которыхъ я вдругъ сталъ просыпаться; я вдругъ почувствовалъ въ душѣ живыя, теплыя движенія и встрѣтилъ ихъ съ неописаннымъ восторгомъ. Пробудилась мысль и стала дѣйствовать; заговорило чувство — я сталъ понимать людей и

вступилъ съ ними въ настоящія, непризрачныя отношенія; я захотѣлъ говорить и сталъ употреблять слова въ ихъ истинномъ смыслѣ. Я сталъ думать своею головою, чувствовать своимъ сердцемъ, говорить своимъ голосомъ. Да, это приходила жизнь, это она, та самая, которая съ дѣтства плѣнила меня своимъ идеаломъ, которой я такъ долго искалъ, такъ ревностно добивался, по которой тосковалъ и приходилъ въ отчаяніе. И пусть немного мнѣ досталось ея на долю, пусть первые лучи ея я встрѣтилъ

*Nel mezzo del cammin di nostra vita,*

когда уже сѣдина стала прокрадываться въ волосы, пусть не сбудется и малѣйшая доля моихъ надеждъ, я все-таки, когда буду умирать, благословлю свою судьбу. Ибо глаза мои увидѣли спасеніе; ибо наконецъ во очію стало совершаться то, во чтó я такъ жарко вѣрилъ, въ чемъ полагалъ всю цѣль и все достоинство жизни.

«И притомъ, тутъ уже не было какогонибудь обмана или самообольщенія! Нѣтъ, я не могъ обманываться! Послѣ всѣхъ моихъ волненій, послѣ всѣхъ мучительныхъ усилій и попытокъ, послѣ всѣхъ мытарствъ, въ которыхъ я извѣдалъ всякую фальшь, всякое искаженіе и извращеніе души, — я уже могъ безошибочно различать дѣй-

ствительное и настоящее отъ призрачнаго и на-  
пускного. Я ясно видѣлъ, что то, что я призналъ  
за жизнь, въ чемъ ставилъ красоту и достоинство  
человѣческаго существованія, то дѣйствительно  
есть жизнь, а не что нибудь другое.

«Вы, можетъ быть, поймете теперь мое спокой-  
ствіе, о которомъ вы столько толковали. Я вовсе  
не счастливъ. Но кто-же сказалъ, что жизнь  
легка? Какъ могли возникнуть относительно жизни  
такія легкомысленныя понятія? Какимъ образомъ  
явились эти постоянныя дѣтскія надежды на сла-  
дость жизни, и какъ случилось, что люди до  
сихъ поръ не привыкли къ разрушенію этихъ на-  
деждъ? Можетъ быть, въ этомъ виновата та ра-  
дость бытія, которая свойственна всякому живому  
существу; можетъ быть, это очень естественное  
заблужденіе, но во всякомъ случаѣ заблужденіе.  
Нѣтъ, жизнь есть нѣчто тяжелое, трудное, нѣчто  
ѣдкое и глубокое, потрясающее своею серіозностію.

«Какъ мы привыкли къ легкомыслію! Какъ  
мы легко вѣримъ тому, чего хотимъ! Мы привык-  
ли думать, что истина, блаженство и красота такъ  
и сіяютъ надъ міромъ, такъ и заливаютъ его  
своими лучами, что ихъ такъ легко достигнуть,  
такъ нетрудно, пожалуй, даже обнять и исчерпать!  
А между тѣмъ они недоступно-высоки и безконечно-  
необъемлемы. И потому безумно было бы, если-бы

человѣкъ сталъ рваться и метаться изъ-за того, зачѣмъ онъ не обладатель полной мудрости, почему не сіяетъ передъ нимъ вѣчная красота, отчего блаженство не наполняетъ до краевъ его души. Какіе бы прыжки мы ни дѣлали, такихъ вещей прыжками не достанешь. Но святотатственно и кощунственно будемъ мы дѣлать, если не будемъ благоговѣть передъ тѣми лучами, которые все-таки падаютъ на насъ изъ этой области свѣта, если отвернемся отъ нихъ, вмѣсто того, чтобы любить ихъ и жить ими, перенося изъ-за нихъ тоску и горечь жизни.

«Теперь мнѣ слѣдуетъ рассказать вамъ, какимъ образомъ случилось мое усмиреніе, въ которомъ я почувствовалъ себя счастливымъ, чѣмъ въ моей гордости, рассказать подробности того, какимъ образомъ уже не я сталъ управлять жизнью, а жизнь захватила и понесла меня. Съ такимъ слѣпымъ человѣкомъ, какъ я, это должно было случиться совершенно неожиданно. Такъ это и было. Это случилось такъ, что душу мою неожиданно поразили жалость, любовь и страхъ. Человѣкъ живетъ собственно сердцемъ.....

«Но вотъ меня зовутъ къ больному. Сердце-то кстати случилось. Прощайте пока. Авось доскажу въ другой разъ. Счастливы вы, что на меня напало нынче какое-то особенное расположеніе духа.

Ну что за занятіе — толковать о себѣ самомъ? Скажи мнѣ, что ты сдѣлалъ, и я скажу тебѣ... Однако, не погудка ли это опять на старый ладъ гордости и безжизненности?

«Еще разъ прощайте, и пожалуйста любите меня.

«20 марта 1865 г.»

Это письмо я получилъ, какъ видятъ читатели, больше года тому назадъ. Съ тѣхъ поръ напрасно я упрасивалъ Павла Николаича продолжить свой рассказъ; онъ или молчалъ, или, присылая мнѣ письма совершенно инаго содержанія, отзывался на мои просьбы, что ему некогда. Я написалъ ему, что хочу напечатать этотъ отрывокъ изъ его ненаписанной повѣсти. Онъ отвѣчалъ мнѣ письмомъ, въ которомъ были только эти слова:

«Печатайте. И безъ того вѣроятно прочитали сорока своимъ пріятелямъ».

«Вашъ П. Т....ховъ».

30 апр. 1866 г.

Пусть теперь читатели судятъ, правъ ли я былъ, полагая, что стоитъ напечатать этотъ отрывокъ.

12 мая 1866 г.





# Стихотворенія.

---

## Комета.

(Писано въ 1859 г., когда видна была комета Донати).

Вотъ ночь, и странными лучами  
Опять небесный сводъ блеститъ:  
Межъ помраченными звѣздами,  
Ихъ застилая волосами,  
Звѣзда косматая горитъ.

Какъ будто, въ бѣшеномъ стремленьи  
Хвостъ разметавши за собой,  
Она, полна недоумѣнья,  
Остановилась на мгновенье,  
Надъ потемнѣвшею землей.

Невольно думаю: комета!  
Увы! Въ былыя времена  
Ты, какъ зловѣщая примѣта,  
Была бы ужасомъ полсвѣта,  
Для мудреца и для поэта  
Томящей тайною полна.

И я, средь черныхъ размышлений,  
Тебя бы спрашивалъ съ тоской:  
„Что ты? Какой грозящій геній,  
Властитель дольнихъ поколѣній,  
Изъ тьмы небесъ летить съ тобой?

„Или, какъ на стѣнахъ чертога  
Незримый нѣкогда писалъ,  
Такъ и тебя—не перстъ ли Бога,  
Какъ букву заповѣди строгой  
Огнемъ на небѣ начерталъ?“

Но, слава Вышнему! Познали  
Мы духъ, которымъ міръ хранимъ,  
Вѣка проклятья миновали,  
И думы страха и печали  
Прошли—и не вернуться имъ.

Передъ сіяньемъ мысли смѣлой  
Распался древній неба сводъ,  
И безъ конца и безъ предѣла  
Пространство мрака просвѣтлѣло  
И мірозданья тайный ходъ.

И нынѣ, радостно, комета,  
Гляжу я, какъ блистаешь ты;  
Ты не грозящая примѣта,—  
Для взора вѣщаго поэта  
Ты—искра будущаго свѣта  
Среди царящей темноты.

Настанутъ дни—міръ обновится,  
 И человѣкъ, согбенный въ прахъ,  
 Надъ міромъ смѣло воцарится  
 И ничего не утрашится  
 Ни на землѣ, ни въ небесахъ.

---

### Грёзы.

Въ тиши моей жизни ничтожной,  
 Въ досадѣ пустыхъ огорченій  
 И въ шумѣ пустаго веселья  
 Дремлю я душою тревожной.

Но, полный тяжелой дремоты,  
 Я чувствую,—сердце тоскуетъ,  
 И снится, и грезится вѣчно  
 Ему—непонятное что-то.

Какіе-то дни золотые,  
 Какія-то дивныя рѣчи,  
 Какія-то брѣвкія силы  
 И мысли и чувства святыя.

И мѣсяцъ, и звѣзды, и розы,  
 Какая-то грусть безъ предѣла,  
 И ласки, безумныя ласки,  
 И слезы, горячія слезы.

---

### Несчастны мы.

Несчастны мы! Отъ юныхъ дней  
Средь жизни будничной и нищей  
Мы вскормлены святою пищею  
Высокихъ мыслей и рѣчей.

Мы, какъ сокровище, до гроба  
Въ душѣ безсильной ихъ хранимъ,  
А сами—каждый день творимъ  
Дѣла безсмыслия и злобы.

И тотъ, кто тайну высшихъ благъ  
Постигнулъ мыслію безгрѣшной,  
Кто каждый день—объ этихъ дняхъ  
Скорбитъ душою безутѣшной,

Когда онъ свѣтъ души своей  
Во тьмѣ идущимъ предлагаетъ—  
Несчастны мы!—отъ юныхъ дней  
И мысль, какъ дѣло, погибаетъ!

1854.

---

### Юность.

О, юность, юность, все ты молода!  
 Растущая кипить и рвется сила;  
 Собой и міромъ вѣчно ты горда,  
 Какъ будто нынче небо міръ покрыло  
 И шумная въ моря стеклась вода,  
 И ночью вдругъ зажглись небесъ свѣтила;  
 Какъ будто солнце всходитъ въ первый разъ  
 И въ первый разъ забилося сердце въ насъ.

Давно ужъ всходитъ солнце! И'—съ начала  
 Съ тѣхъ поръ, какъ человѣческимъ очамъ  
 Оно въ сіяньи первомъ заблестало,  
 Знакомъ восторгъ, знакомы муки намъ;  
 Мольбой и стономъ небо прозвучало,  
 И было время думамъ и дѣламъ;  
 Но юныхъ душъ безумство не остыло—  
 Гордится умъ, кипить и рвется сила...

---

## Заботы.

Насъ гонять! Слышите, свистить  
 Бичей размахъ неумолимый?  
 Смотрите—черный рой летить,  
 То рой заботъ неотразимый.  
 Имъ нѣтъ числа, имъ нѣтъ конца,  
 Все тѣ жь, а кажутся другими;  
 Не обращая къ нимъ лица,  
 Мы убѣгаемъ передъ ними.  
 Летимъ. Мелькаетъ день за днемъ,  
 Мелькають годы за годами;  
 Не время думать надъ путемъ  
 И любоваться сторонами,  
 Не время радоваться намъ  
 И вспомнить и взгрустнуть не время;  
 Чтò мимо—тò осталось тамъ!  
 Ничто не дорого, все бремя.  
 Все—чувство, слово—тяжело;  
 Бичъ свищетъ беспощадно-строгій,  
 И свѣтъ ума, души тепло  
 Бросаемъ въ искрахъ по дорогѣ.  
 И бѣдны свѣтомъ и тепломъ  
 Спѣшимъ, сначала подымаясь  
 Все выше, выше, а потомъ—  
 Невозвратно опускаясь.  
 Летимъ, смыслъ жизни потерявъ;  
 Тамъ бездна!... Чтò она? Не знаемъ!  
 И не опомняся, стремглавъ  
 Въ ту бездну мрака упадаемъ.

1853.

### Жизнь.

Есть трепетъ — присущій  
 Природѣ и жизни людской,  
 Есть гласъ — вопіющій  
 Въ пустынь души молодой.

Внезапно и смутно  
 Промчится таинственный громъ,  
 И видится — чудно  
 Въ ночи непробудной  
 Тьма міра сверкнула огнемъ.

И небо и землю,  
 И жизни красу и печаль  
 Я взоромъ объемлю,  
 И вижу, и внемлю —  
 Хаоса безбрежную даль.

Безумно отважно  
 Гляжу я на ходъ міровой,  
 И дивно, и страшно  
 Свершается жизнь предо мной.

1857.

---

## Міръ.

Мнѣ міръ непонятный тревожитъ  
 Всю душу мою изумленьемъ,  
 И сердце затихнуть не можетъ,  
 Конца не найду размышленьямъ.

И рвется душа — подѣлиться  
 Таинственнымъ чувствомъ и словомъ,  
 Чтò Богъ-вѣсть откуда родится,  
 Чтò кажется вѣчнымъ и новымъ.

И знаю, куда ни пойду я,  
 И сколько жить небо ни судить,  
 Міръ дивный все тотъ же найду я,  
 Все сердцу покоя не будетъ.

Ужели — незримой тропою,  
 Безмолвно тая изумленье,  
 Задумавшись мыслью живою,  
 Пройду я до гроба и тлѣнья?

Или — эту мысль безъ границы  
 И всю изумленья тревогу  
 На бѣлыя бросить страницы,  
 Какъ жертву незримому Богу?

1855.

---



### Не вѣрь себѣ.

Въ минуту слабости душевной  
 Не вѣрь, не вѣрь себѣ, поэтъ!  
 Все ложно въ жизни повседневной,  
 И лжи въ одномъ восторгѣ нѣтъ.

Смотри,-- не знаютъ люди сами,  
 Что ихъ волнуетъ и влечетъ;  
 То — кровь горячими струями  
 Въ ихъ сердцахъ трепетномъ течетъ.

И дѣтямъ радостнымъ подобны,  
 Безъ мѣры мыслей и страстей,  
 Они безжалостны и злобны,  
 Какъ дѣти въ рѣзвости своей.

Не дорожи же ихъ участиемъ,  
 За ихъ хвалою не гонись,  
 Не дорожи житейскимъ счастьемъ  
 И ни предъ кѣмъ не преклонись.

Лишь безпорочный духъ поэта,  
 Какъ высшій даръ, не погуби,  
 И твой восторгъ, какъ искру свѣта  
 Во мраки жизни, возлюби.

Въ минуту слабости душевной  
 Не вѣрь, не вѣрь себѣ, поэтъ,  
 Все ложно въ жизни повседневной,  
 И лжи въ одномъ восторгѣ нѣтъ.

1853.

## Е. Е.

Кто крѣпокъ и богатъ душою,  
Тотъ межъ людей царемъ глядитъ:  
Однихъ любовью онъ дарить,  
Другихъ казнить своей враждою.

Но ты, несчастное созданье,  
Душою скуденъ ты и хилъ;  
Самъ у людей всю жизнь просилъ  
Ты крохъ любви, какъ подаянья,  
И, какъ огонь, тебѣ всегда  
Была страшна людей вражда.

1878.

Воробьевка.

## Е. Е.

Онъ ходитъ тихо межъ людей,  
Но преданъ странному занятю:  
Все ищетъ онъ въ душѣ своей,  
Кого бы, по лицу, по платью,  
По складу мыслей и рѣчей,  
Предать презрѣнью, иль проклятью;  
Какъ будто вѣчно въ страхѣ онъ,  
Что самъ за что-то осужденъ,  
И тайной гордости движенье  
Ему единое спасенье.

### Воробьевскій паркъ.

Когда душа твоя чиста,  
И безмятежно сердце бьется,  
Ступай туда, гдѣ тѣнь густа,  
Гдѣ жаркій лучъ сквозь вѣтви рвется.

Тамъ будетъ все тебя ласкать:  
Свѣтъ, воздухъ, чудный видъ съ дорожки,  
И золотыя будутъ мошки  
Вкругъ головы твоей мелькать.

Но если духомъ ты взволнованъ  
И шевелится страсть въ груди,  
Въ мой паркъ ты лучше не ходи:  
Онъ тайной силой зачарованъ.

Тебя лучъ солнца обожжетъ,  
Пень самъ подъ ногу подвернется,  
И видъ чудесный пропадетъ,  
Клещъ жадный въ грудь тебѣ вопьется,  
И будутъ жалить мухъ полки  
Твой лобъ и шею, и виски.

---

### Эстетику.

Не міръ хорошъ, а хороша  
Въ тебѣ порой твоя душа,  
И не гармонія природы  
Звучитъ среди лѣсовъ и водъ,  
А сердце, въ чистый мигъ свободы,  
Само въ груди твоей поетъ.

### Поэту.

Коль ужъ поэтомъ стать рѣшился,  
 То не вилай и не хитри:  
 Чтó на душѣ, каковъ родился,  
 Чѣмъ дышишь, то и говори.

---

### Е. Е.

И осторожно, и небрежно  
 По тропкѣ жизненной плетусь,  
 И всякой дряни я боюсь,  
 Но не того, чтó неизбѣжно.

1884.

---

### Ночь.

(П. А. Кускову).

Какъ щить  
 Полна,  
 Горить  
 Луна;  
 Шумить  
 Волна,  
 И полнъ  
 Тоски  
 Плескъ волнъ  
 Рѣки.

Сплелись,  
Слились  
И свѣтъ,  
И мгла,  
И нѣтъ  
Числа  
Звѣздамъ  
Небесъ.  
Спитъ лѣсъ,  
И тамъ  
Дрожатъ  
Листы,  
И спятъ  
Цвѣты.  
Кругомъ  
Давно  
Все сномъ  
Полно;  
Но сонъ  
Души  
Тоской  
Смущенъ  
Въ тиши  
Ночной.  
На грудь  
Налегъ  
Рой думъ;  
Мой путь  
Далекъ,  
Угрюмъ.

## Жалоба.

Какъ смутный сонъ уходятъ дни за днями  
 И каждый день дня прошлаго блѣднѣй;  
 Не дышитъ умъ высокими мечтами,  
 Нѣмое сердце спитъ среди людей;  
 Безсиліемъ, какъ тяжкими цѣпями,  
 Я удрученъ во цвѣтѣ лучшихъ дней,  
 И я томлюся жизнью безотраднѣй,  
 Какъ язвою мучительной и смраднѣй.

Зачѣмъ же ты, жестокая судьба,  
 Въ меня святую искру заронила?  
 Зачѣмъ тобой мнѣ суждена борьба  
 И не дана властительная сила?  
 Зачѣмъ рука и грудь моя слаба,  
 А ты огонь горящій въ нихъ вложила,  
 Огонь живой негаснущихъ стремленій,  
 Огонь стыда и горькихъ сожалѣній?

1853.

---

## Изъ „Идеаловъ“ Шиллера.

Какъ нѣкогда съ мольбою и желаньемъ  
 Пигмаліонъ свой камень обнималъ,  
 И чувства жаръ зажегся подъ лобзаньемъ  
 И въ мраморныхъ ланитахъ запылалъ, —  
 Такъ обвивалъ влюбленными руками  
 Природу я въ восторгѣ молодомъ,  
 Пока дохнула страстными устами  
 И стала грѣть мнѣ грудь живымъ тепломъ.

И, жаркія желанья раздѣляя,  
 Нѣмая вдругъ языкъ нашла,  
 Мнѣ поцѣлуй любовный возвращая,  
 Сердечный крикъ мой поняла.  
 Дышала роза, дерево шептало,  
 И сладко пѣлъ серебрянный ручей,  
 И неживое чувствомъ трепетало,  
 Откликнувшись на жизнь души моей.

1851.

---

### Воспоминаніе.

Все помню: звукъ морскихъ зыбей,  
И крестъ надъ дружеской могилой,  
И какъ зажегся образъ милый  
Въ душѣ померкнувшей моей:

Черты—блѣднѣе изваянья,  
Но жизнь во взорѣ молодомъ,  
И въ сердцѣ трепетно-больномъ  
Великодушныя желанья.

Благословенны вы стократъ!  
Мой вечеръ гаснетъ безнадежно,  
Но вы взошли звѣздою нѣжной  
На мой блѣднѣющій закатъ.

1886.

---

### Извиненіе.

Душа моя еще звучна,  
Всѣхъ струнъ ея я самъ не знаю,  
И часто жадно я внимаю,  
Какъ въ глубинѣ звучитъ она.

Невольно я отвѣтилъ пѣньемъ  
На задушевный звукъ рѣчей,  
Вниманье дѣвственныхъ очей  
Невольнымъ встрѣтилъ умилениемъ.

1887.

---



## Дума.

Покой и свѣтъ вокругъ меня;  
Всѣ узы міра я оставилъ,  
На чистый пламень бытія  
Я взоръ души своей направилъ.

Но часто тусклъ усталый взглядъ,  
Но язвы давняго растлѣнья  
На сердцѣ старомъ вновь горять,  
И меркнетъ радостное зрѣнье.

Богъ милосердъ! Онъ мнѣ пошлетъ  
Свое святое испытанье,  
Онъ зло мое во мнѣ сожжетъ  
Огнемъ предсмертнаго страданья.

1888.













PG  
2947  
S7A3  
1892a

Strakhov, Nikolai Nikolaevich  
Vospominaniia i otryvki

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---

